



ГОВАРД

ЛАВКРАФТ

НЕКРОНОМИКОН.
КНИГА ЗАПРЕТНЫХ ТАЙН

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Говард Лавкрафт

**Некрономикон. Книга
запретных тайн**

«Издательство АСТ»

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84 (7Coe)-44

Лавкрафт Г. Ф.

Некрономикон. Книга запретных тайн / Г. Ф. Лавкрафт —
«Издательство АСТ», — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-119689-9

Причудливые, полные ужаса истории, вошедшие в этот сборник, расскажут о тех, кто вкусил из ядовитой чаши запретных знаний – «Некрономикона» – и в полной мере ощутил последствия этого шага. Но Лавкрафт, как ни странно, создавал и другие рассказы – уютные, насмешливо-пародийные, полные дружеского тепла по отношению к своим собратьям по перу: Кларку Э. Смиту, Августу Дерлету, Роберту Говарду и другим, хотя со многими из них он никогда в жизни не встречался... В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84 (7Coe)-44

ISBN 978-5-17-119689-9

© Лавкрафт Г. Ф.
© Издательство АСТ

Содержание

История «Некрономикона»	6
Воспоминания о докторе Сэмюэле Джонсоне	8
Зверь в подземелье	12
Страшный Старик	16
В склепе	18
Натура Пикмена	23
Цвет иного мира	31
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Говард Филлипс Лавкрафт

Некрономикон. Книга запретных тайн

Серия «Эксклюзивная классика»

Перевод с английского

Художник *В. Половцев*

© Перевод. О. Колесников, 2019

© Перевод. Ю. Соколов, 2016

© Перевод. В. Бернацкая, 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2020

История «Некрономикона»

Первоначальное название книги – «Аль-Азиф»; словом «азиф» арабы обозначали ночные звуки (издаваемые насекомыми), которые они принимали за вой демонов.

Составил эту книгу Абдул Альхазред, безумный поэт из Саны в Йемене, творивший, по слухам, во времена Омейядского халифата, ок. 700 г. нашей эры. Он посетил руины Вавилона, тайные подземелья Мемфиса и провел десять лет в одиночестве на юге Аравии, в великой пустыне, которую древние арабы называли Руб-эль-Хали, то есть «пустое пространство», а нынешние зовут «Дахна», то есть «багряная», где, как считается, обитают лишь злые духи-хранители и смертельно опасные чудища. Те, кто уверяют, что побывали в этой пустыне, рассказывают о ней вещи странные и невероятные. Последние свои годы Альхазред провел в Дамаске, где и был написан «Некрономикон» («Аль-Азиф»), и об окончательной его смерти или исчезновении (в 738 г.) рассказывают много ужасного и противоречивого. Как сообщает Ибн Халликан (биограф XII века), его среди бела дня схватило и сожрало на глазах множества застывших от ужаса свидетелей невидимое чудовище. Многие рассказывают о его безумии. Он утверждал, будто видел легендарный Ирам¹, или Многоколонный град, и в руинах некоего безымянного покинутого города нашел ошеломляющие хроники и сокровенные знания расы, более древней, чем человечество. Формально он исповедовал ислам, но почитал неведомые сущности, которые называл Йог-Сототом и Ктулху.

В 950 году «Азиф», имевший широкое, хотя и негласное хождение среди философов того времени, был тайно переведен на греческий язык Теодором Филитом из Константинополя и получил название «Некрономикон». На протяжении столетия эта книга волновала умы и побуждала некоторых исследователей к ужасным экспериментам, пока наконец ее не запретил и не сжег патриарх Михаил. После этого о ней говорили только украдкой, но затем в Средние века (в 1228 году) Олай Вормий сделал латинский перевод, и этот латинский текст был напечатан дважды, первый раз в пятнадцатом веке готическим шрифтом (судя по всему, в Германии) и второй раз в семнадцатом (вероятно, в Испании) – оба издания без выходных данных, время и место их появления определены исключительно по типографским особенностям. Как латинский, так и греческий текст были запрещены папой Григорием IX в 1232 году, вскоре после появления латинского перевода, привлечшего к книге внимание. Арабский оригинал во времена Вормия был уже утрачен, о чем он сам пишет в предисловии, а о греческом переводе, отпечатанном в Италии между 1500 и 1550 годами, ни разу не упоминалось с того момента, как в 1692 году сгорела библиотека некоего жителя Салема. Английский перевод, выполненный доктором Ди, опубликован не был и существует лишь в виде фрагментов оригинальной рукописи. Из сохранившихся латинских текстов одна книга (XV в.), как известно, находится в Британском музее в специальном хранилище, тогда как другая (XVII в.) хранится в Национальной библиотеке в Париже. Издание семнадцатого века имеется также в Библиотеке Уайднера в Гарварде и в библиотеке Мискатоникского университета в Аркхеме, а также в библиотеке Университета Буэнос-Айреса. Вероятно, тайно существует и множество других экземпляров, и один из них, пятнадцатого века, по слухам, составляет часть коллекции знаменитого американского миллионера. Если верить еще более смутным слухам, греческое издание шестнадцатого века сохранилось в семье Пикмана в Салеме; но, если так, оно исчезло вместе с художником Р. А. Пикманом, пропавшим в начале 1926 года. Эта книга официально запрещена в большинстве стран и всеми официальными конфессиями. Ее чтение приводит к ужасающим последствиям. Именно из слухов об этой книге (о которой широкой публике почти неизвестно) Р. В. Чемберс, говорят, почерпнул идею одного из своих первых романов, «Король в желтом».

¹ Коран 89:7.

Хронология

Ок. 730 н. э. Абдул Альхазред написал «Аль-Азиф» в Дамаске.

950 г. Переведена Теодором Филитом на греческий под названием «Некрономикон».

1050 г. Сожжена патриархом Михаилом (греческий текст; арабский текст к этому времени утрачен).

1228 г. Олай Вормий перевел с греческого на латынь.

1232 г. Папа Григорий IX уничтожает латинский и греческий тексты.

XV век Издание готическим шрифтом (Германия).

XVI век Издание греческого текста в Италии.

XVII век Переиздание латинского текста в Испании.

Примечание

В дополнение следует привести письмо, написанное Кларку Эштону Смитту 27 ноября 1927 года:

Этой осенью у меня не было возможности написать что-то новое, но я привел в порядок заметки и комментарии к ненаписанному, задумав несколько рассказов об ужасных тварах. В частности, я собрал воедино сведения о знаменитом и запрещенном цензурой «Некрономиконе» безумного араба Абдула Альхазреда! Судя по всему, это шокирующее кощунство создал уроженец йеменской Саны, творивший около 700 года нашей эры и совершивший множество мистических паломничеств: к руинам Вавилона, к катакомбам Мемфиса, к населенным дьявольскими существами нехоженым пустошам великой южноаравийской пустыни Руб-эль-Хали, где, по его словам, он нашел записи расы более древней, чем человечество, и проникся поклонением Йог-Сототу и Ктулху. Книга была создана им в преклонном возрасте, когда он проживал в Дамаске, и первоначальное название ее – «Аль-Азиф»: словом «азиф» (ср. примечания Хенли к «Ватеку» Бекфорда) арабы обозначали ночные звуки (издаваемые насекомыми), которые принимали за вой демонов. Альхазред умер или исчез в 738 году при ужасных обстоятельствах. В 950 году «Аль-Азиф» был переведен на греческий язык византийцем Теодором Филитом и получил название «Некрономикон», а столетие спустя книгу предали сожжению по приказу константинопольского патриарха Михаила. «Некрономикон» был переведен на латынь Олаем в 1228 году, но помещен папой Григорием IX в 1232 году в Index Expurgatorius. Оригинальный арабский текст утрачен еще до Олая, а последняя известная греческая копия погибла в Салеме в 1692 году. Книжные издания осуществлялись в XV, XVI и XVII веках, но сохранилось всего несколько экземпляров. Где бы эта книга ни хранилась, ее тщательно стерегут ради спокойствия и равновесия во всем мире. В библиотеке Мискатоникского университета в Аркхеме некий человек однажды прочитал эту книгу и, дико озираясь, бежал в горы... Но это уже совсем другая история!

Еще в одном письме (Джеймсу Блишу и Уильяму Миллеру, 1936) Лавкрафт пишет:

Вам посчастливилось стать обладателями бумажных копий гадкого адского «Некрономикона». У вас латинское издание, отпечатанное в Германии в пятнадцатом веке, греческая версия, отпечатанная в Италии в 1567 году, или испанский перевод 1623 года? Или у вас экземпляры разных изданий?

Воспоминания о докторе Сэмюэле Джонсоне

Честь излагать Воспоминания, как бы скучны или бессвязны они ни были, обычно предоставляется очень пожилым людям; и действительно, неизвестные события Истории и малоизвестные случаи с участием Великих зачастую передают Потомкам с помощью таких вот мемуаров.

Немало моих читателей замечали порой своеобразный налет Старины в моей манере Изложения, и мне отрадно было появляться среди представителей Того Поколения в качестве Человека Молодого, прикрываясь вымыслом, будто родился я в 1890 году в Америке. Однако ныне я решусь раскрыть Тайну, что доселе хранил, страшась Недоверия, и Откровенно поведать Правду о своем подлинном возрасте, дабы удовлетворить жажду достоверных сведений о той Эпохе, с достославными Особами коей я был на короткой ноге. Да будет Вам известно, что я появился на свет в родовом поместье в Девоншире августа 10 дня 1690 года (а по новому григорианскому стилю Летосчисления – 20 августа), и означает сие, что мне сейчас 228 лет. Перебравшись в Лондон совсем юным, я видел в молодые годы многих знаменитых Особ времен царствования короля Вильгельма, среди прочих и печально известного господина Драйдена, частенько сживавшего за столиками кофейни Уилла. Впоследствии я свел довольно короткое знакомство с господином Аддисоном и доктором Свифтом, а после стал весьма близким другом господина Поупа, с коим общался и коего уважал до самой его смерти. Но понеже сейчас веду речь о моем недавнем Коллеге докторе Джонсоне, жившем в более позднее время, то отставлю пока свою молодость.

Впервые я услышал о докторе в мае 1738 года, хотя в ту пору еще не встречался с ним. Господин Поуп как раз закончил эпилог к своим «Сатирам» (фрагмент, начинающийся словами «Не дважды в Год ты появляешься в Печати») и готовил его к Публикации. В тот самый день, когда эпилог этот увидел свет, в печати появилась и Сатира в Подражание Ювеналу, поименованная «Лондон», неизвестного тогда Джонсона; она так поразила жителей города, что многие Джентльмены, славящиеся хорошим Вкусом, заявляли, что се – Творение Поэта более великого, нежели господин Поуп. И хотя отдельные недоброжелатели сеяли слухи о мелочной завистливости г-на Поупа, тот воздавал Стихам своего нового соперника немалые хвалы и, узнав от господина Ричардсона, кто сей поэт, сказал мне, что «господина Джонсона вскоре еще откопают».

Мы с доктором не были Представлены друг другу до 1763 года, когда нас познакомил в таверне «Митра» господин Джеймс Босуэлл, молодой шотландец из прекрасной семьи, человек великой учености при невеликом уме, чьи рифмические Излияния мне доводилось порой улучшать.

Вот каким я увидел доктора Джонсона: склонный к полноте, страдающий отдышкой, очень дурно одетый и вообще неопрятный. Припоминаю, что на нем был пышный, короткий завитой парик, неподвязанный, ненапудренный да и маловатый для его головы. Одежды его, рыжевато-коричневые, были сильно измяты, нескольких пуговиц недоставало. Лицо доктора, чересчур полное, чтоб быть изящным, казалось подпорченным каким-то болезненным Расстройством, а голова его то и дело конвульсивно подергивалась. Об этом Изъяне, впрочем, я знал заранее от господина Поупа, взявшего на себя труд навести некоторые Справки.

Будучи почти семидесяти трех лет, на целых девятнадцать лет старше доктора Джонсона (я называю его «доктором», хотя степень ему присудили только через два года), я, разумеется, ожидал от него почтительного отношения к моему возрасту и потому не испытывал перед ним того страха, в котором признаются другие. Когда я поинтересовался у него, какого он мнения о моем одобрительном отзыве на его «Словарь» в «Лондонце», моей периодической газете, он заметил: «Сэр, не припоминаю, чтобы читал вашу газету, и не слишком интересуюсь мне-

нием менее разумной части человечества». Не на шутку задетый неучтивостью человека, чья Известность понуждала меня печься о его Одобрении, я отважился ответить ему в том же тоне и выразил удивление тем, что человек Здравомыслящий берется судить о Разумности того, чьих Произведений никогда не читал. «Видите ли, сэр, – отвечал Джонсон, – мне вовсе не требуется знакомиться с Писаниями человека, чтобы оценить Поверхностность созданного им, когда он столь явственно выдает ее стремлением упомянуть о своих Трудах в первом же обращении ко мне вопросе». Таким вот образом завязав Дружбу, мы общались впоследствии по самым разным Вопросам. Когда, соглашаясь с ним, я заметил, что сомневаюсь в подлинности поэм Оссиана, господин Джонсон сказал: «Это, сэр, не делает особой Чести вашему Пониманию; ибо то, что подозревают все поголовно горожане, не может стать великим Открытием, сделанным уличным критиком с Граб-стрит. С таким же успехом вы можете заявить, что все-речь подозреваете, будто «Потерянный рай» написал не Мильтон!»

С той поры я довольно часто виделся с Джонсоном, как правило, на заседаниях «Литературного клуба», основанного доктором на следующий год вместе с господином Бёрком, парламентарием, господином Боклерком, джентльменом, обладающим Вкусом в одежде, господином Лэнгтоном, человеком благочестивым и капитаном милиции, сэром Дж. Рейнольдсом, известным Художником, доктором Голдсмитом, Автором поэзии и прозы, доктором Нюджен-том, тестем господина Бёрка, сэром Джоном Хокинсом, господином Энтони Шамье и мною. Обычно мы раз в неделю, в семь вечера собирались в «Турецкой голове» на Джеррард-стрит в Сохо, пока эту Таверну не продали и не превратили в частное жилище; после этого События наши Собрания последовательно перемещались в «Принц» на Сэквилл-стрит, в «Ле-Телье» на Дувр-стрит, в «Парслоу» и, наконец, в «Дом с соломенной крышей» на Сент-Джеймс-стрит. На этих Встречах мы поддерживали великолепную атмосферу Дружелюбия и Спокойствия, что очень выгодно отличается от тех разногласий и разлада, какие я сегодня наблюдаю в профессиональных и любительских Объединениях издателей. Это Спокойствие тем более замечательно, что среди нас были Джентльмены, придерживавшиеся весьма различных Мнений. Мы с доктором Джонсоном, как и многие другие, были ярыми Тори, тогда как господин Бёрк принадлежал к Вигам и выступал противником американской войны; многие его Речи по этому вопросу доступны широкой публике. Наименее дружелюбным участником нашего кружка оказался один из основателей, сэр Джон Хокинс, написавший впоследствии много лживых историй про наше Общество. Сэр Джон, человек по природе своей эксцентричный, однажды отказался вносить свою часть Платы за Ужин, ибо имел Обыкновение не Ужинать дома. Позднее он оскорбил г-на Бёрка в столь неприемлемой Манере, что все мы сочли своим Долгом выразить ему Неодобрение; после того случая он больше не появлялся на наших Собраниях. Однако при всем том он вовсе не ссорился с доктором и даже стал его Душеприказчиком, хотя у господина Босуэлла и иных были основания сомневаться в его искренней Преданности. В более позднее время в Клубе состояли: господин Дэвид Гаррик, актер и давний друг доктора Джонсона; господа Томас и Джозеф Уортоны; доктор Адам Смит; доктор Перси, автор «Реликвий»; господин Эдуард Гиббон, историк; доктор Бёрни, музыкант; господин Мэлоун, критик, и господин Босуэлл. Г-н Гаррик поначалу имел некоторые Затруднения с Допуском на Собрания, ибо доктор, невзирая на большую личную Дружбу с ним, никогда не одобрял Сцену и все с ней связанное. При том Джонсон имел странное Обыкновение вступаться за Дэви, когда прочие выступали против него, и спорить с ним, когда остальные его поддерживали. У меня нет Сомнений, что он искренне любил господина Гаррика, ибо никогда не отзывался о нем дурно, так же как о Футе, который вел себя грубовато, хотя был актером комического жанра. Мне не очень-то нравился г-н Гиббон ввиду его отвратительной Манеры глумиться, что задевало даже тех из нас, кто восхищался его историческими Сочинениями. Больше прочих мне пришлось по душе господин Голдсмит, человек вполне заурядный, изрядный модник и франт, малоискусный в поддержании Беседы – ведь и сам я не блистал суждениями. Он отчаянно завидовал

доктору Джонсону, но тем не менее любил и уважал его. Помню, однажды в нашей компании явился Иноземец, будто бы немец; пока говорил Голдсмит, этот человек заметил, что доктор вознамерился что-то сказать. Невольно отнесясь к Голдсмиту как к незначительной препоне в общении с более великим человеком, Иноземец резко прервал его (чем навлек на себя стойкую Враждебность), воскликнув: «Тише, токтор Шонсон сопрался говорить!»

В этой блистательной компании мирились с моим присутствием скорее из уважения к моим летам, чем ради Остроты Ума или Учености; во всем прочем я был им не ровня. Моя Дружба с прославленным господином Вольтером вызывала лишь Досаду у доктора, который твердо придерживался консервативных взглядов и мог бы сказать о французском Философе: «*Vir est acerrimi Ingenii et paucarum Literarum*», то есть «муж острейшего ума, но малой образованности».

Знакомый мне и Прежде господин Босуэлл, проявлявший склонность к мелким колкостям, высмеивал мои неловкие Манеры и старомодные Парики и Одежания. Однажды, слегка захмелев от Вина (к коему имел пристрастие), он вздумал Экспромтом сочинить на меня памфлет в стихах, записывая их на столешнице, но без той Помощи, к коей обычно прибегал при создании своих Сочинений, сделал вопиющую грамматическую Ошибку. Я сказал ему, что не стоит писать памфлеты на Истоки своей Поэзии. В другой раз Боззи (так мы его звали) пожаловался, что в Статьях моего «Ежемесячного обозрения» я чрезмерно Суров к начинающим Авторам. Он заявил, что я сбрасываю всех претендентов со склонов Парнаса. «Сэр, – отвечал я, – вы заблуждаетесь. Непреуспевшие скатываются вниз лишь по Скудости своих Сил, но, желая скрыть это, винят в Отсутствии Успеха первого же Критика, упомянувшего о них». Приятно вспомнить, что доктор Джонсон поддержал меня в этом Вопросе.

Доктору Джонсону не было равных в стараниях, прилагаемых к исправлению дурных Стихов других авторов; говорят даже, будто в книге миссис Уильямс, бедной подслеповатой старушки, строк, писанных не доктором, осталось всего две. Однажды Джонсон продекламировал мне несколько строк слуги герцога Лидского, которые так позабавили его, что он запомнил их наизусть. Написанные на свадьбу герцога, своим Качеством они до того схожи с Творениями иных, более поздних Олухов от поэзии, что я не могу не привести их здесь:

Когда герцог Лидский обженится
С леди молодой и возвышенной,
То счастлива будет сия госпожа
Под сенью Его Высочайшества.

Я поинтересовался у доктора, не пытался ли он придать Смысл этому Отрывку, и, поскольку он сказал «нет», я, забавляясь, внес следующее Исправление:

Когда достославный удачно обженится Лидс,
Чтоб славную линию древнего рода продлить,
То Дева гордиться должна, ничьих не стесняясь лиц,
Что мужа такого великого сможет любить!

Когда я ознакомил с этим доктора Джонсона, он заметил: «Сэр, выправив Хромоту, вы не вложили в стих ни Остроумия, ни Поэзии».

Я с Удовольствием продолжил бы рассказ о своем Общении с доктором Джонсоном и умами его круга, но я стар и быстро утомляюсь. Припоминая бывшее, я словно бы блуждаю без особой Логикой или Упорядоченности; боюсь, я осветил лишь несколько Случаев, не обнаруженных никем другим. Если мои нынешние Воспоминания будут приняты Благосклонно, я могу впоследствии изложить и некоторые другие занимательные Истории из прежних времен,

Истории, коих я единственный живой ныне Участник. Я помню еще многое о Сэме Джонсоне и его клубе, Членство в каковом сохранял много спустя после Смерти доктора, о коей искренне скорблю. Я помню, как Джона Бергойна, эсквайра и генерала, чьи Драматургические и Поэтические Творения увидели свет уже после его Смерти, не допустили в клуб из-за трех голосов «против» – вероятно, ввиду его прискорбного Поражения под Саратогой в Американской войне. Бедный Джон! Пожалуй, сын его преуспел более и даже стал баронетом. Но я очень устал. Я стар, очень стар, и мне пора укладываться для Дневного Покоя.

Зверь в подземелье

Ужасный вывод, назойливо крутящийся в моем смущенном, но еще слабо сопротивляющемся ему сознании, обрел ужасную несомненность. Я заблудился, окончательно и безнадежно, в лабиринте Мамонтовой пещеры. Хотя я напряженно вглядывался во все стороны, нигде не открылся мне знак, подсказавший бы путь к спасению. Не видеть мне больше никогда благословенного дневного света, не будут ласкать мой взор милые холмы и долины прекрасного мира снаружи, такого недоступного, что мое сознание отвергало даже малейшее неверие в это. Надежда покинула меня. Однако жизнь давно сделала меня философом, и я испытал немалое удовлетворение от бесстрастности своего собственного поведения; ибо мне доводилось читать о яростном бешенстве, в которое впадают жертвы подобных обстоятельств, однако я не испытывал ничего даже близкого к этому и оставался совершенно невозмутимым с того самого момента, как осознал, что не имею шанса найти выход наружу.

Мысль о том, что я, должно быть, покинул ту часть пещеры, где водят экскурсии, ни на секунду не лишила меня самообладания. Если меня ждет смерть, рассуждал я, то эта ужасная, но величественная пещера столь же достойное место для успокоения, как и кладбище, — концепция, несущая больше спокойствия, чем отчаяния.

Я нисколько не сомневался, что впереди меня ждет последний знак свершившейся судьбы — голод. Я знал, что при подобных обстоятельствах многие сходили с ума; но чувствовал — меня ждет другой конец. В случившемся со мной виноват был исключительно я сам, поскольку без ведома гида я покинул ряды послушных ему любителей поглазеть на достопримечательности и уже более часа блуждал по запрещенным для туристов ответвлениям, и теперь уже невозможно отыскать в этом лабиринте тот путь, по которому я покинул своих спутников.

Мой факел уже догорает; близился момент, когда меня окутает крошечная тьма земных недр. Стоя посреди тающего круга неверного света, я праздно пытался нарисовать себе точную картину приближающейся смерти. Я припомнил доклад о колонии больных туберкулезом, поселившихся здесь в гигантском гроте, надеясь вернуть здоровье целебным климатом подземного мира, с его неизменной температурой, чистым воздухом и умиротворяющим покоем, но обрели лишь смерть и были найдены окоченевшими в странных и ужасных позах. Грустные останки их сделанных наспех домишек я видел, проходя мимо них вместе с группой, и теперь задавался вопросом, какое причудливое влияние окажет долгое пребывание в огромной и тихой пещере на такого здорового и крепкого человека, как я. Ну, зловеще заметил я себе, если голод не оборвет мою жизнь чересчур поспешно, то разрешение этой загадки мне предстоит на практике.

Когда свет моего факела свело последней судорогой и все вокруг поглотил мрак, я решил не пренебрегать никакой возможностью спасения, и потому во всю мощь своих легких и напрягая голосовые связки издал серию глухих криков в надежде привлечь внимание проводника. Но при этом в глубине души я был уверен, что мои крики не достигнут цели и мой голос, гулкий, отраженный бесконечными изломами поглотившего меня черного лабиринта, не достигнет ушей кого-либо, кто мог бы спасти меня.

Однако внезапно мой обострившийся слух услышал что-то — мне вдруг показалось, что я улавливаю приближающийся звук мягких шагов по каменному полу пещеры.

Неужели мое спасение наступило так быстро? Может, вопреки моему ужасному предчувствию, проводник заметил мое недозволенное отсутствие в группе и двинулся по моим следам, чтобы найти меня в этом известняковом лабиринте? Пока эти радостные вопросы проносились в моем сознании, пока я собирался возобновить крики, чтобы приблизить минуту спасения, мой восторг вдруг сменился ужасом; мой чуткий слух, еще более обострившийся из-за полного безмолвия пещеры, донес до оцепенелого сознания, что эти шаги не похожи на шаги человека.

В неземной тиши подземного мира шаги проводника звучали бы как четкие регулярные стуки. Этот звук шагов был мягким, по-кошачьи крадущимся. Кроме того, прислушавшись, я различил в походке четыре такта вместо двух.

Теперь я не сомневался, что своими криками разбудил какого-то дикого зверя, может быть, пуму, случайно забредшую в пещеру. Возможно, подумал я, Всевышний избрал для меня не голод, а другую, более быструю и милосердную смерть? И все же инстинкт самосохранения шевельнулся в моей груди, и хотя надвигающаяся опасность несла избавление от медленного и жестокого конца, я решил, что расстанусь с жизнью только по самой высокой цене. Хотя это может показаться странным, мой ум отметил, что пришелец пока что не заслужил никакими своими действиями такой враждебности с моей стороны. Осознав это, я затаился, надеясь, что неизвестное животное, перестав слышать звуки, потеряет ориентацию, как это случилось со мной, и пройдет мимо. Однако моя надежда не оправдалась; странная поступь неотвратимо приближалась – наверное, зверь чуял мой запах, который в чистейшей атмосфере пещеры разносился наверняка на большое расстояние.

Пошарив рядом с собой в поисках, чем бы вооружиться для защиты от нападения невидимого в пещерном мраке противника, я взял в каждую руку по крупному камню из тех, что валялись тут повсюду, готовясь к отпору, несмотря на неизбежный исход схватки. Между тем мерзкая поступь лап звучала уже совсем близко. Впрочем, повадки этой твари были странными. Большую часть времени у меня не вызывало сомнения, что это звук четвероногого существа, с характерным перебоем между задними и передними лапами; но время от времени, в короткие интервалы, мне казалось, что это походка двуногого. Я терялся в догадках, что за животное может приближаться ко мне; должно быть, подумал я, это несчастное существо расплачивается за свое любопытство, толкнувшее его исследовать вход в мрачную пещеру, пожизненным заточением в бесконечных проходах и разветвлениях. Ему приходится питаться незрячими рыбинами, летучими мышами и крысами и, может быть, рыбешкой, которая может оказаться здесь во время паводков Грин-ривер, воды которой каким-то непостижимым образом сообщаются с водами пещеры. Я скрашивал мрачное ожидание приближающегося существа догадками, какие изменения в его теле произошли из-за долгого пребывания, вспомнив об ужасных уродствах умерших здесь туберкулезников, причиной которых жители окрестных поселков называли именно продолжительную подземную жизнь. Затем я осознал, что даже если мне удастся победить в схватке с противником, я никогда не увижу его облика, поскольку мой факел уже давно погас, а спичек у меня с собой не было. Мой мозг был напряжен до предела. Вздурженное воображение рисовало пугающие силуэты в окружающей тьме, сдавливающей меня все сильнее. Все ближе и ближе раздавались ужасные шаги. Из меня пытался вырваться наружу пронзительный вопль, но казалось, что даже если я решусь крикнуть, вряд ли голос послушается меня. Я окаменел от ужаса. Я не был уверен, что правая рука послушается меня, когда придет момент кидать камень в надвигающееся чудовище. Равномерная поступь звучала уже рядом, совсем близко. Я расслышал тяжелое дыхание зверя и, несмотря на испуг, осознал, что он добрался издалека и изнурен. Паралич внезапно исчез. Моя правая рука, безошибочно направляемая слухом, метнула со всей силы кусок известняка с многочисленными острыми углами, который сжимала, в то место темноты, где был источник дыхания, и мой снаряд почти достиг цели: я услышал, как после легкого шлепка камень стукнулся о пол пещеры где-то вдалеке.

Сосредоточившись, чтобы кинуть точнее, я метнул второй камень, и на этот раз результат превзошел все мои ожидания; я с радостью услышал, как существо рухнуло всей своей тяжестью и замерло. Едва удержавшись на ногах от навалившегося на меня облегчения, я оперся на стену. Звуки дыхания продолжали доноситься до меня – тяжелые вдохи и выдохи, – и я вдруг осознал, что не более чем ранил зверя. Но у меня уже не было прежнего желания выяснить, кто есть этот некто. Нечто типа беспричинного суеверного страха поразило меня, и я не решался

приблизиться к телу, но вместе с тем не решался и продолжать кидать камни, чтобы добить его окончательно. Вместо этого я бросился со всей скоростью, на какую был еще способен, в ту сторону, откуда, как мне казалось, я пришел. Вдруг я уловил звук или, точнее, регулярную последовательность звуков. Через мгновение она перешла в острые металлические постукивания. На сей раз сомнений не было. Это проводник. А затем я закричал, завопил, даже завыл от восторга, когда заметил вдали под сводами мерцающие блики, которые, насколько я понимал, не могли быть ничем иным, кроме как отсветами приближающегося факела. Я бежал навстречу бликам и затем, не вполне сознавая, как это произошло, оказался простертым у ног проводника, прильнув к его ботинкам, изливая на ошеломленного слушателя, отринув свою обычную сдержанность и путаясь в словах, свою ужасную историю вперемешку с высокопарными изъяснениями благодарности. Через какое-то время я наконец пришел в себя. Проводник заметил мое отсутствие, только когда группа покидала пещеру, и, полагаясь на интуицию, углубился в лабиринт проходов от того места, где он последний раз разговаривал со мной; ему удалось найти меня после четырех часов поиска.

Когда он изложил это мне, я, ободренный наличием света и тем, что уже не один, задумался о странном существе, раненном мной, которое, скрытое мраком, лежало неподалеку от нас, и предложил, чтобы мы установили, что же за тварь стала моей жертвой. Развернувшись в обратную сторону, уже с храбростью, порожденной присутствием рядом товарища, я двинулся снова к месту моего ужасного испытания. Вскоре мы заметили на полу пещеры нечто белое – заметно белее, чем известняк вокруг. Осторожно приблизившись, мы практически одновременно вскрикнули от изумления, поскольку из всех необычных монстров, каких доводилось видеть каждому из нас, этот был самым странным. Он выглядел как большая человекообразная обезьяна, отбившаяся, должно быть, от передвижного зверинца. Шерсть ее была белоснежной, выбеленной, без сомнения, чернильной чернотой пещерного подземелья, и удивительно редкой, но при этом на голове она росла роскошной копной и ниспадала на плечи. Черты лица этого существа, лежащего ничком, были скрыты от нас. Его конечности были неестественно вывернуты – впрочем, в них таилась разгадка смены поступи, на которую я обратил внимание раньше: очевидно, животное при передвижении использовало то все четыре, то лишь две опоры. Над подушечками пальцев нависали длинные, подобные крысиным когти. Конечности не выглядели цепкими – этот факт, как и безукоризненную белизну шерсти, можно объяснить долгим обитанием в пещере, о чем я уже упоминал. Хвоста у этого существа не было.

Его дыхание становилось все слабее, и проводник взялся за пистолет, чтобы прикончить зверя, но тот неожиданно издал звук, заставивший опустить оружие. Этот звук трудно описать. Он не походил на обычные звуки, издаваемые обезьянами, и возможно, объяснялся долгим воздействием безграничной и могильной тишины, потревоженной теперь бликами света, который странное существо не видело, вероятно, с тех пор, как забрело в пещеру. Более всего он напоминал невнятное бормотание.

Вдруг едва заметный спазм пробежал по его телу. Передние конечности дернулись, задние свело судорогой. Из-за этого белое тело перевернулось, и лицо существа оказалось обращено к нам. Ужас, застывший в его глазах, настолько поразил меня на какое-то время, что я не замечал ничего другого. Черные как смоль, эти глаза жутко контрастировали с белизной тела. Как у всех обитателей пещер, они были лишены радужной оболочки и глубоко запали. Приглядевшись внимательнее, я обратил внимание, что челюсти менее выдаются вперед, чем обычно у приматов, и лицо почти без следов шерсти. Нос был совсем не как у обезьяны. Пока мы смотрели, словно завороченные, на это зрелище, толстые губы разжались, выпустив еще несколько звуков, после чего существо на полу пещеры успокоилось навсегда.

Проводник вцепился в рукав моего пальто и вздрагивал так сильно, что от его факела на стенах плясали причудливые тени. Я же неподвижно, но твердо стоял на месте, уставившись на пол пещеры.

Страх ушел, сменившись изумлением, благоговением и состраданием; ибо звуки, издаваемые сраженной мною жертвой, простертой перед нами на камнях, открыли удивительную истину. Странное создание, которое я убил, обитатель жуткого подземелья, было, во всяком случае когда-то давно, *человеком!*

Страшный Старик

Анджело Риччи, Джо Чанек и Мануэль Сильва надумали заглянуть к Страшному Старiku. Старик этот жил совсем один в очень древнем доме на протянувшейся вдоль побережья Водной улице и слыл чрезвычайно богатым и чрезвычайно немощным, что не могло не заинтересовать таких людей, как господи Риччи, Чанек и Сильва, ибо по роду занятий эти уважаемые джентльмены были грабителями.

Жители Кингспорта с глубокой убежденностью рассказывают о Страшном Старике много такого, что обычно оберегает его от внимания джентльменов вроде господина Риччи и его коллег, несмотря на явные свидетельства того, что где-то в затхлом ветхом жилище Старика спрятано значительное состояние. Он и впрямь производит весьма странное впечатление, и считается, что в свое время он служил капитаном на ходивших в Индию клиперах – такой старый, что никто не помнит его молодым, и такой неразговорчивый, что лишь немногие знают его настоящее имя. Во дворе перед входом в свой ветхий дом он разместил странный набор больших камней, причудливо расставленных и разукрашенных так, что они кажутся идолами из загадочного восточного храма. Эти камни отпугивают мальчишек, чье любимое занятие – дразнить Страшного Старика из-за его длинных белых волос и бороды или пулять чем попало в его маленькие окошки; но есть и нечто, нагоняющее страх и на любопытных постарше, которые иногда прокрадываются к дому, чтобы заглянуть в пыльные окна. Эти болтают, будто в первом этаже посреди пустой комнаты расставлены на столе диковинные бутылки и в каждой на веревочке подвешен наподобие маятника маленький кусочек свинца. Уверяют, что Страшный Старик разговаривает с этими бутылками, обращаясь к ним по именам – Джек, Меченый, Долговязый Том, Испанец Джо, Питерс и Напарник Эллис, и что всякий раз, как он обращается к той или иной бутылке, маленький свинцовый маятник внутри нее явственно покачивается, словно в ответ.

Те, кому довелось увидеть, как высокий, тощий Страшный Старик ведет эти своеобразные беседы, никогда больше не подсматривали за ним. Но Анджело Риччи, Джо Чанек и Мануэль Сильва не были коренными кингспортцами; принадлежа к новому, разнородному племени чужаков, которому чужды магические ритмы традиций и уклада жизни Новой Англии, они видели в Страшном Старике лишь нетвердо держащегося на ногах, почти беззащитного седобородого старца с беспомощно трясущимися худыми и слабыми руками, неспособного передвигаться без узловатой трости. При этом они по-своему даже жалели одинокого, никем не любимого старика, которого люди сторонились, а собаки яростно облаивали. Но бизнес есть бизнес, и для грабителя-энтузиаста очень старый и очень слабый человек, не имеющий счета в банке, но оплачивающий в деревенской лавке свои скромные потребности испанскими золотыми и серебряными монетами, отчеканенными два века назад, – сразу и соблазн и вызов.

Господа Риччи, Чанек и Сильва избрали для визита вечер 11 апреля. Г-н Риччи и г-н Сильва намеревались провести с несчастным старым джентльменом беседу, а г-н Чанек дожидаясь их (предположительно, с грузом металла) в крытом автомобиле на Корабельной улице, у ворот в высокой задней стене владений джентльмена, которому они нанесли визит. Желание избежать ненужных объяснений в случае внезапного вмешательства полиции склонило их запланировать тихое и скромное отбытие.

Как было условлено заранее, трое искателей приключений отправились на дело порознь, чтобы впоследствии избежать каких бы то ни было дурных подозрений. Господа Риччи и Сильва встретились на Водной улице у парадного входа во владения старика, и, хотя им не понравился вид разукрашенных камней, освещаемых луной сквозь пустившие почки ветви корявых деревьев, причиной их беспокойства были вовсе не беспочвенные суеверия. Они опасались лишь, что попытки принудить Страшного Старика к беседе о припрятанном золоте и

серебре могут оказаться делом малоприятным, ведь немолодые морские капитаны особенно упрямы и несговорчивы. И все же он был очень стар и немощен, а посетителей двое. Господа Риччи и Сильва весьма поднаторели в искусстве развязывать языки людям, не расположенным к общению, а крики слабого человека весьма почтенных лет легко заглушить. Подойдя к единственному освещенному окну, они услышали, как Страшный Старик, словно играющий ребенок, толкует со своими бутылками с маятниками. Надев маски, они вежливо постучали в потемневшую от непогоды дубовую дверь.

На Корабельной улице г-ну Чанеку, беспокоило ерзавшему на сиденье крытого автомобиля у задней калитки владений Страшного Старика, ожидание казалось вечностью. Он был невероятно сердобольным, и его душу терзали ужасные крики, начавшие долетать из старинного дома почти сразу после урочного часа. А ведь он просил коллег обойтись с умиленно старым капитаном бережно! Он нервно следил за узкими дубовыми воротцами в высокой, увитой плющом каменной стене, то и дело поглядывая на часы и удивляясь задержке. Неужели старик умер, так и не открыв, где спрятано его сокровище, и потребовались тщательные поиски? Г-ну Чанеку не по душе было так долго ждать в темноте в таком месте. Затем на дорожке за воротцами послышались мягкие шаги или постукивание, тихо скрипнула отодвигаемая ржавая задвижка, и узкая тяжелая дверь отворилась внутрь. В бледном свете одинокого тусклого уличного фонаря ему пришлось напрячь глаза, чтобы разглядеть, что именно его коллеги выносят из зловещего дома, выступавшего из мрака совсем рядом. Но увиденное не оправдало его ожиданий, ибо коллег там не оказалось – только Страшный Старик. Он спокойно стоял, опираясь на узловатую трость, и гадко ухмылялся. Г-н Чанек никогда прежде не обращал внимания на то, какого цвета глаза у этого человека; теперь он увидел, что они желтые.

В маленьких городках любое мелкое происшествие вызывает заметное волнение, поэтому нет ничего удивительного в том, что жители Кингспорта всю весну и лето обсуждали принесенные приливом три неопознанных трупа, страшно искромсанные, словно их рубили множеством сабель, и жестоко искалеченные, словно их топтало множество ног в жестких сапогах. Кое-кто обсуждал и вовсе пустяки – брошенный на Корабельной улице автомобиль или услышанные ночью теми из горожан, кто не спал, нечеловеческие крики, вероятно, какого-то прилудившегося зверя или случайно залетевшей диковинной птицы. Но Страшный Старик не проявлял ни малейшего интереса к этим праздным пересудам. Он по природе был нелюдом, а когда человек стар и немощен, его нелюдность усугубляется. Кроме того, столь дряхлому мореплавателю в незапамятную пору его юности, несомненно, приходилось становиться свидетелем гораздо более сенсационных событий.

В склепе

На мой взгляд, глупо считать, что с простыми людьми никаких других историй, кроме банальных, случиться не может, а ведь именно так думают многие. Стоит вам упомянуть о некой деревеньке, населенной янки, где гробовщик, недотепа и бедолага, остался по неосторожности в склепе, и читатель непременно будет ждать от вас немудреного анекдота с легким налетом гротеска. Однако в весьма заурядной истории, приключившейся с Джорджем Берчем, которую теперь, после его смерти, я могу поведать читателям, есть нечто, в сравнении с чем даже мрачнейшие из трагедий покажутся жизнерадостными побасенками.

В 1881 году Берч неожиданно закрыл свое дело и сменил профессию, не распространяясь о причинах, побудивших его к этому. Молчал и его врач, старина Дэвис, теперь уже почивший в бозе. Считалось, что болезнь Берча явилась следствием пережитого шока – в результате несчастного случая он оказался заперт в склепе на кладбище Пек-Уолли, где провел девять часов и выбрался откуда лишь с превеликим трудом. Все это чистая правда, но были в этой истории и другие, более мрачные подробности; как-то Берч, будучи мертвецки пьян, поведал мне о них. Думаю, он рассказал мне всю правду потому, что я был его врачом, к тому же после смерти Дэвиса его неодолимо тянуло поделиться с кем-нибудь еще. Ведь он был старый холостяк – ни родных, ни близких.

До 1881 года Берч оставался деревенским гробовщиком, но даже среди людей этой профессии выделялся своей черствостью и примитивностью. Качество его работы оставляло желать лучшего и сегодня никого бы уже не удовлетворило, по крайней мере в городах, но думаю, что и жители Пек-Уолли содрогнулись бы, узнай они, как бессовестно ловчит этот мастер ритуальных услуг, когда ему заказывают дорогую обивку, невидную на дне гроба, или с каким небрежением укладывает покойников в их последнее пристанище. Нет сомнений, Берч был неряшлив, равнодушен к людскому горю, никуда не годился в профессиональном отношении, и все же, мне кажется, он не был злым человеком. Просто он был от природы груб – туповатый, ленивый, жадный, что и привело впоследствии к несчастью, которого могло бы и не случиться. У него напрочь отсутствовало воображение, которое не позволяет рядовому обывателю, получившему хоть какое-то воспитание, выходить за общепринятые рамки приличия в своем поведении.

Я не мастер рассказывать истории и поэтому не знаю, с чего начать свое повествование. Может, всего уместнее начать с того холодного декабря 1880 года, когда земля промерзла до такой степени, что могильщики поняли: до весны им не выкопать ни одной могилы. Деревушка, к счастью, была небольшая, умирали не часто, и потому все клиенты Берча могли найти себе временный приют в старом общем склепе. Наш гробовщик от холодной погоды вовсе разленился и, кажется, превзошел в халатности самого себя. Еще никогда не сбывал он таких утлых и нескладных гробов и совсем не обращал внимания на проржавевший засов склепа, дверцей которого он то и дело хлопал с вызывающей небрежностью.

Наконец пришла весна, и для девятирех умолкших навеки заложников зимы, терпеливо ждавших в склепе часа своего упокоения, были выкопаны могилы. Берч, хоть и не любивший хлопот, связанных с погребением мертвецов, все же одним ненастным апрельским днем начал перевозить гробы, но прекратил работу еще до полудня по причине сильного дождя, беспокоившего лошадь. Он успел доставить к месту вечного приюта одного лишь Дариуса Пека, девятидесятилетнего старца, чья могила была недалеко от склепа. Берч решил, что перевезет остальных завтра, начав с низкорослого Мэтью Феннера, чья могила также была неподалеку, но проканителлся целых три дня, вплоть до пятнадцатого – до Страстной пятницы. Лишенный всяких предрассудков, он не побоялся работать в святой день, хотя впоследствии его никакими

силами нельзя было заставить чем-либо в такие дни заниматься. События того вечера, несомненно, очень его изменили.

Итак, пятнадцатого апреля, в пятницу пополудни, Берч впряг лошадь в повозку и направился к склепу, чтобы перевезти гроб с телом Мэтью Феннера. Он не скрывал впоследствии, что был несколько навеселе, хотя тогда еще не пил горькую, как позднее, когда хотел забыться. У него просто немного кружилась голова, отчего он вел себя еще безалабернее обычного, чем раздражал чуткую лошадь. Берч гнал ее к склепу, стегая кнутом, а она ржала, била копытом и мотала головой, как и в тот день, когда им помешал дождь. Было сухо, но дул сильный ветер, и Берч поспешно отпер железную дверь и забрался в склеп, одна сторона которого примыкала к склону холма. Многим было бы не по себе в этом сыром, затхлом помещении, где в беспорядке стояли восемь гробов, но не отличавшегося тонкостью чувств Берча заботило лишь одно – не перепутать гробы и поместить каждого в его могилу. Он еще помнил шумный скандал, который закатили переехавшие в город родственники Ханны Бигсби, когда решили перевезти ее прах на городское кладбище и обнаружили под могильным камнем останки судьи Кепуэлла.

В склепе было темновато, но Берч обладал хорошим зрением и не спутал гроб Асафа Сойера с нужным ему, хотя они почти ничем не отличались. Собственно, вначале гроб этот предназначался для Мэтью Феннера, но получился такой нескладный и шаткий, что Берч, вспомнив, как этот щуплый старичок был добр и щедр к нему, когда пять лет назад Берчу грозило разорение, неожиданно для себя, в приступе какой-то странной сентиментальности, отставил его в сторону. Для Мэтта он сколотил самый лучший гроб, на какой только был способен, однако, поскупившись, сохранил и отвергнутый, приспособив его для Асафа Сойера, когда тот скончался от лихорадки. Сойер был недобрым человеком, о его дьявольской мстительности и злопамятстве ходили легенды. Поэтому Берч не испытал никаких угрызений совести, сплавив ему эту развалюху, которую сейчас и отпихнул с дороги в поисках гроба Феннера.

Но как только он отыскал его, дверь вдруг с шумом захлопнулась, оставив гробовщика почти в полной темноте. Свет едва пробивался сквозь узкую фрамугу да вентиляционное отверстие над головой, и Берчу пришлось пробираться к двери на ощупь, то и дело останавливаясь и спотыкаясь о гробы. Он долго громыхал во мраке проржавевшими задвижками, бился о железные панели, удивляясь, отчего это дверь стала такой неподатливой. Наконец правда открылась ему, и тогда он отчаянно закричал, но его услышала только лошадь, издав в ответ неодобрительное ржание. Засов, к которому он относился столь небрежно, окончательно заклинило, и незадачливый гробовщик, жертва собственной беспечности, оказался запертым в склепе.

Это событие произошло в полчетвертого пополудни. Берч, по природе человек флегматичный и трезвый, вскорости перестал вопить и принялся искать инструменты, которые, как он помнил, лежали где-то в углу склепа. Сомнительно, чтобы он в полной мере прочувствовал весь ужас и фатальность ситуации, однако его основательно раздражал сам факт заточения, столь грубо выключивший его из жизни деревни. Дневной распорядок полностью нарушен, одно ясно: если его не выручит какой-нибудь праздный гуляка, придется провести здесь всю ночь, а может, и больше. Отыскав наконец инструменты и выбрав из них молоток и стамеску, Берч снова пробрался между гробами к двери. Дышать было совершенно нечем, но он не обращал на это внимания, пытаясь справиться с массивным железным засовом. Он отдал бы многое сейчас за фонарь или хотя бы свечу, но за неимением их трудился изо всех сил почти в полной темноте.

Поняв, что с засовом ему не справиться – особенно теми инструментами, которыми он располагал, – Берч огляделся в поисках другого выхода. С одной стороны склеп был врыт в склон холма, и узкая вентиляционная труба проходила через толстый слой земли, что делало абсолютно невозможной попытку выбраться через нее. Однако можно было попытаться расширить узкую фрамугу, расположенную в фасаде строения, прямо над дверью. Берч долго ее

разглядывал, прикидывая, как бы до нее добраться. Лестницы в склепе не было, а ниши для гробов, расположенные с трех сторон, которыми, кстати, Берч никогда не пользовался, также были для него бесполезны. Подняться наверх можно было, только составив лестницу из самих гробов, и Берч стал прикидывать, как лучше это сделать. Уже три гроба, поставленные один на другой, давали ему возможность дотянуться до фрамуги, но с четырьмя, считал он, будет удобнее. Все гробы были одного размера, взгромоздить их один на другой не представляло труда, но требовалось покумекать, как поставить все восемь, чтобы «лестница» была поустойчивей. Размышляя обо всем этом, он пожелал себе, чтобы его изделия оказались попрочнее. Однако у него не хватило воображения пожелать также, чтобы они были пустыми.

В конце концов он порешил, что в основание «лестницы» лягут три гроба, установленные параллельно стене, на которые он поставит еще два ряда по два гроба в каждом, а сверху у него будет еще один. Это сооружение позволит без труда взобраться на него, даст устойчивость и нужную высоту. Но потом Берчу показалось, что лучше оставить в основании только два гроба, а один держать в запасе на тот случай, если с четырех ступеней ему будет трудно выбраться наружу. И вот наш узник начал трудиться в темноте, созидавая свою миниатюрную вавилонскую башню и обращаясь при этом весьма бесцеремонно с безмолвными останками своих односельчан. От его усилий некоторые гробы уже трещали, и тогда для большей уверенности Берч решил поставить на самый верх прочный гроб Мэтью Феннера. Не доверяя глазам, он попытался отыскать на ощупь и почти сразу же наткнулся на него. Это была великая удача, так как Берч непредусмотрительно запихнул его в третий этаж.

Воздвигнув наконец свою башню, Берч решил дать передышку натруженным рукам и немного посидел на нижней ступени этого мрачного сооружения. Затем, прихватив с собой инструменты, с превеликой осторожностью взгромоздился на самый верх и оказался прямо на уровне фрамуги. Она была со всех сторон выложена камнем, и следовало изрядно потрудиться, чтобы сделать из этой щели достаточно большой лаз. Лошадь при стуке молотка как-то странно заржала; в ее ржании слышались не то издевка, не то одобрение. Уместно было и то и другое. С одной стороны, стать узником сего ветхого строения – какой убийственный сатирический комментарий к тщете человеческих усилий! С другой стороны, стремление выбраться из западни, несомненно, заслуживало всяческого уважения.

Наступивший вечер застал Берча за работой. Теперь он совсем уже ничего не видел – за облаками померк даже свет луны, но все же воспрянул духом, так как щель значительно увеличилась. Он был уверен, что к полуночи сумеет выбраться, и к этой уверенности не примешивалось никакой суеверной робости. На него никак не влияли ни время, ни место, ни странное общество у него под ногами. Он со стоическим спокойствием отбивал камень за камнем, тихонько поругиваясь, когда осколки попадали ему в лицо, но от души расхохотался, когда один попал в лошадь, уже давно бившую в остервенении копытом у кипариса. Лаз понемногу увеличивался, и Берч время от времени делал попытку в него пролезть – при этом гробы под ним шатались и скрипели. Он уже понял, что ему не придется ставить еще один гроб – щель была на досягаемом уровне.

Только в полночь Берч решил, что теперь-то уж наверняка пролезет в отверстие. Усталый и вспотевший, он спустился вниз и присел отдохнуть, чтобы набраться сил для последнего рывка. Голодная лошадь непрерывно ржала, и в этом ржании было нечто настолько жуткое, что даже Берчу стало не по себе. Он уже не чувствовал того подъема, который испытал, уверившись в близком спасении, теперь он опасался, что, раздавшись с возрастом в боках, все-таки не сможет пролезть в дыру. Вновь взбираясь на поскрипывающие гробы, Берч мучительно ощущал собственный вес, а поднимаясь на последний, услышал угрожающий треск, недвусмысленно говоривший, что крышка проломилась. Зря он, видимо, понадеялся на лучшее свое изделие: стоило ему только встать на него, как гнилые доски треснули, и Берч провалился в гроб. Лошадь, испуганная то ли шумом, то ли усилившимся зловонием, издала отча-

янный звук, который и ржанием-то нельзя было назвать, и понеслась куда-то в ночную тьму, таща за собой громохочущую тележку.

Берч понял, что положение его аховое – теперь дыра была значительно выше его груди, но, собрав все силы, решился на отчаянную попытку. Уцепившись за край фрамуги, он попытался подтянуться, однако что-то мешало ему, казалось, его крепко держат за ноги. Тут он впервые за все время испытал страх и изо всех сил постарался освободиться от непонятной помехи, но на ноги будто гири навесили. Внезапно он почувствовал резкую боль, как если бы в лодыжку впилося что-то острое. Берч, несмотря на весь свой ужас, объяснил для себя эту боль вполне естественными причинами, полагая, что у треснувшего гроба обнажились гвозди или расщепленные углы. Он, должно быть, кричал, уж во всяком случае, отчаянно брыкался, почти теряя сознание.

Наконец страшным усилием воли Берч вырвался из западни, протиснулся в щель и рухнул на сырую землю. Он не мог, как выяснилось, идти и пополз, волоча окровавленные ноги и конвульсивно впиваясь ногтями в могильную землю, а выглянувшая из облаков луна освещала эту жуткую картину. Берч полз к домику кладбищенского сторожа, тело у него было ватыным, а движения замедленными, как в ночном кошмаре. Никто не гнался за ним, во всяком случае, когда Армингтон, ночной сторож, услышав царапанье, открыл дверь, кроме Берча, за нею никого не было.

Армингтон уложил Берча на свободную кровать и послал своего сына Эдвина за доктором Дэвисом. Больной был в полном сознании, но ничего не объяснял, повторяя только что-то вроде: «Мои ноги... пусти... один в склепе». Пришедший со своим неизменным саквояжем и ободряющими словами доктор распорядился снять с несчастного верхнюю одежду и башмаки. Его раны (обе лодыжки в области ахиллова сухожилия были зверски истерзаны, как будто из них вырвали по изрядному куску мяса), казалось, озадачили и даже напугали старого врача. Он с волнением расспрашивал больного о случившемся, дрожащими руками постарался побыстрее обработать и забинтовать раны, не в силах глядеть на это жуткое зрелище.

В вопросах, которые Дэвис задавал гробовщику, звучал плохо скрываемый страх, похоже, он хотел выпытать у своего пациента – что было совсем нехарактерно для старого врача – все до мельчайших подробностей о кошмарном ночном приключении. Его особенно интересовало, уверен ли Берч, что на самом верху стоял тот самый гроб, и как он сумел отыскать его в темноте, точно ли это был гроб Феннера и как ему удалось отличить его от того, в котором покоился зловредный Асаф Сойер. И мог ли так внезапно треснуть гроб Феннера? Деревенский врач Дэвис видел, конечно, оба гроба во время похорон и, конечно же, посещал Феннера и Сойера незадолго до их смерти. И помнил свое изумление на похоронах Сойера: как это он поместился в гроб, сделанный по размерам тщедушного Феннера?

Через два часа доктор ушел, посоветовав Берчу говорить всем, что поранил ноги о гвозди и острые углы. Кому придет в голову что-нибудь другое? Лучше помалкивать и не обращаться к другим врачам. Берч так и сделал, я же со своей стороны, осмотрев после его откровений старые, бледные уже шрамы, согласился, что это был мудрый совет. Берч навсегда остался хромым – связки так полностью и не восстановились, – но, полагаю, самый большой ущерб понесла его душа. Психическое здоровье гробовщика заметно пошатнулось, больно было видеть, как бывший увалень и флегматик вздрагивает при одном лишь упоминании о пятнице, склепе, гробе и подобных вещах. Его напуганная лошадь вернулась-таки домой, но его разум в прежнем виде не возвратился к нему. Он сменил работу, но так и не обрел покоя. Возможно, его мучил страх, возможно, на этот страх позднее наложилось раскаяние в совершенных грехах. Желая забыться, он пристрастился к спиртному.

Той ночью, оставив Берча, доктор Дэвис, взяв с собой фонарь, направился к склепу. При свете луны он увидел разбросанные осколки камней и изуродованный фасад строения. Дверца склепа легко поддавалась, едва он дотронулся до нее. Насмотревшийся всего в операционных,

доктор смело вошел внутрь и огляделся. Но от тяжелого зловония и открывшегося перед ним зрелища у доктора перехватило дыхание. Он громко закричал, крик перешел в еще более ужасный хрип. В следующее мгновение он уже несли к сторожке и там, забыв все правила профессиональной этики, разбудил пациента и, тряся его, возбужденно и прерывисто зашептал нечто такое, что обожгло уши гробовщика, будто с шипением изрыгаемый яд.

«Это был Асаф! Так я и думал! Я хорошо помню, у него не хватало переднего зуба. Заклинаю, не показывай никому свои раны – там есть эти отметины. Труп почти разложился, но злобное выражение на его лице... на его бывшем лице... видно и сейчас... Ведь это суший дьявол. Помнишь, как он разорил старого Раймонда, и это через тридцать лет после спора о границе между их участками! Или как безжалостно раздавил он прошлым летом укусившего его щенка! Суший дьявол, Берч! Он может мстить и из гроба. Спаси меня, Боже, от его мести!

Зачем ты сделал это, Берч? Конечно, он был негодяй, и я не виню тебя за этот бракованный гроб, но все же ты зашел слишком далеко. Экономить, конечно, не грех, но ведь старина Феннер был такого маленького роста!

Этого зрелища я никогда не забуду. Брыкался ты, видать, здорово – гроб Асафа валяется на земле, череп расколот, кости раскиданы. Всякого я насмотрелся, но такого не упомню! Жуткое зрелище! Бог свидетель, ты, Берч, получил по заслугам. Череп заставил меня содрогнуться, но то, что я увидел потом, было во сто крат хуже: *содранное с твоих лодыжек мясо лежит в бракованном гробу Мэтта Феннера!*»

Натура Пикмена

Не нужно считать меня безумным, Элиот, у многих найдутся предрассудки похлеще моего. Ты же не высмеиваешь деда Оливера, не желающего ездить в автомобиле. И если это поганое метро мне не нравится, я имею на это полное право, в любом случае на такси мы добрались сюда быстрее. Не пришлось лезть со станции на горку от Парковой.

Я знаю, что кажусь теперь куда более нервным, чем год назад, когда мы встречались с тобой в последний раз. Не надо разводить здесь целую клинику. Как знает Господь, тому была бездна причин, и я могу только радоваться, что сохранил рассудок. При чем тут третья степень алкоголизма? Не будь таким любопытным.

Ну хорошо, если тебе суждено это услышать, у меня нет причин возражать. Может быть, я даже должен это сделать после тех горестных писем, которыми ты, словно расстроенный папаша, начал оделять меня, узнав, что я оставил Клуб искусств и держусь подальше от Пикмена. Теперь, когда он пропал, я вновь стал заглядывать в бутылку – время от времени, но нервы, понимаешь, нервы шалят.

Нет, я не знаю, что произошло с Пикменом, и не желаю даже догадываться. Должно быть, ты сообразил, что я расстался с Пикменом, кое-что разузнав о нем, – потому-то я и знать не хочу, что с ним случилось.

Пусть рыщет полиция – им едва удастся обнаружить нечто существенное, они не узнали даже о квартире его в Нортэнде, той, которую он снимал под фамилией Питерс. Я и сам не уверен, что смогу отыскать ее... и не желаю пытаться, даже при ярком солнечном свете. Да, я знаю, точнее боюсь, что знаю, почему он заслужил такую судьбу. Я сейчас объясню. И думаю, ты поймешь, почему я не обращаюсь в полицию; еще прежде, чем я закончу рассказ, они будут просить меня проводить их, а я не пойду в этот дом, даже если сумею вспомнить, где он находится. Там было такое... Теперь я не могу пользоваться подземкой и – смейся, пожалуйста, на здоровье – спускаться в погреб.

Думаю, ты представляешь, что я оставил Пикмена не по глупой прихоти, не со старушечьего страха – как это сделали доктор Рейд, или Джо Минот, или Росуорт. Жуткое искусство меня не шокирует, и когда я встречаюсь с человеком, обладающим гениальностью Пикмена, я почитаю за честь познакомиться с ним, куда бы ни отправляли зрителей его работы. В Бостоне не рождалось художника более великого, чем Ричард Антон Пикмен. Я это говорил тогда, скажу и теперь, я не оставил этого мнения, даже когда он выставил «Пир упырей». Это было, когда Минот, помнишь, порезал его.

Ты знаешь, нужно обладать глубочайшим мастерством и проникновением в суть природы, чтобы писать такие вещи, как Пикмен. Любой мазилка, малюющий обложки для журналов, может наляпать краски на холст и обозвать получившееся кошмаром или шабашем ведьм, даже портретом нечистого, но только из-под кисти великого художника может выйти нечто истинно странное и правдоподобное. Дело в том, что лишь настоящий художник может постичь истинную анатомию ужасного и физиологию страха, точные очертания и пропорции, совпадающие с тем, что твердит нам дремлющий инстинкт и наследственные воспоминания, знающие и верные световые контрасты, и цвет. Не надо объяснять тебе, почему от картин Фузели мурашки бегут по коже, а обложка дешевой книжонки о призраках вселяет смех. Такие мастера способны ухватить нечто вневременное, а потом заставить нас поверить себе. Так было с Доре. Это есть у Симэ. И у Ангаролы из Чикаго. И Пикмен обладал этим умением в такой мере, как никто до него, и дай-то Боже, чтобы и после.

Не спрашивай у меня, как они это видят. Ты знаешь, и в обычном искусстве есть разница между тем, что живет и дышит, как положено Богом, и всякими фокусами, высосанными из пальца в пустой студии коммерческого успеха ради. Или, если сказать иначе, по-настоящему

жуткие картины должны порождаться видениями, являющими художнику истинное, что творится в окружающем нас мире духов. И тогда мастер рисует такое, что отличается от приторных фантазий халтурщика, как произведения истинного живописца от изделий учащегося заочной школы рисунка. Если бы хоть однажды увидеть то, что открывалось Пикмену... Избави Боже! Давай-ка выпьем, прежде чем пускаться дальше. Боже, да меня бы и в живых не было, если бы только я увидел этого человека... если это и впрямь был человек.

Ты помнишь – сила Пикмена была в лицах, я не верю никому после Гойи, умевшего вложить в жуткую физиономию или гримасу истинный ад. Ну а до Гойи – взять хотя бы средневековых трудяг, создававших горгульи и химеры для Нотр-Дам и Мон Сен-Мишель. Они верили в существование многого, а значит, и видели многое, ведь в Средневековье были свои любопытные фазы. Я помню, ты сам спрашивал у Пикмена за год примерно до твоего отъезда, где, в каких громах и молниях сумел он подсмотреть свои идеи и видения. Помнишь, каким гаденьким смешком он отделался от тебя? Из-за этого-то смешка Рейд и оставил его. Рейд, как ты помнишь, только что занялся сравнительной патологией и так раздувался от всей «внутренней сути» – биологического и эволюционного смысла различных умственных или физических симптомов. Он сказал, что Пикмен день ото дня вселяет в него все большее отвращение, даже стал пугать в последнее время, и что ему это не нравится. Он поговорил тогда еще о диете и сказал, что Пикмен должен быть безумцем и сумасбродом высшей степени. Наверное, это ты и намекнул Рейду – если вы с ним переписывались, – что ему необходимо либо более не видеть картин Пикмена, либо как-то обуздать собственное воображение. И я прекрасно помню, что сам тогда говорил ему.

Но помни, сам-то я оставил Пикмена вовсе не за такое. Напротив, мое восхищение им все продолжало расти – ведь «Пир упырей» был истинным шедевром. Ты помнишь, клуб не захотел выставлять его, а Музей изящных искусств не принял даже в качестве подарка; могу добавить – никто не хотел покупать эту картину, так что Пикмен держал ее в доме до самого конца. Теперь она у его отца в Салеме – ты знаешь, в жилах Пикмена текла еще та старая салемская кровь, какую-то из его прародительниц повесили как ведьму в 1642 году.

Я стал частенько заходить к Пикмену, особенно после того, как начал делать заметки для монографии о жутком искусстве... Быть может, именно его работы и вложили мне в голову эту идею, и когда я приступил к делу, Пикмен оказался просто источником сведений и предложений. Он показал мне все свои картины и рисунки, находившиеся у него, в том числе и наброски пером, за которые его мгновенно вышибли бы из клуба, проведая кто о них. Вскоре я сделался едва ли не почитателем его и мог, словно школьник, часами внимать его разглагольствованиям... Философические размышления эти и искусствоведческие теории достойны были истинного обитателя денверского сумасшедшего дома. И мое почитание – тем более что люди старались по возможности не иметь с ним дела – делало Пикмена откровенным... так что однажды вечером он намекнул, что, если я буду держать язык за зубами и не подожму хвост, он покажет мне нечто особое... куда более сильное, чем осмеливался он держать в доме.

«Сам знаешь, – пояснил он, – есть вещи, которые не годятся для Ньюбери-стрит, они здесь неуместны и не могут даже быть здесь созданы. Мое дело – подмечать обертоны души, а что можно уловить среди домов-выскочек, выстроившихся вдоль искусственной улочки спланированного района? Бэк-Бэй – это не Бостон... еще ничто вообще; эти кварталы не обрели еще памяти, не привлекли к себе духов. Найдись здесь какой-то призрак, он непременно окажется тихоней с соленого болота, из мелкой лужи... а мне нужны духи людей, способные увидеть ад и понять его.

Художник может обитать только в Нортэнде. Любой искренний эстет должен уйти в трущобы, навстречу традициям масс. Боже мой! Неужели же непонятно, что эти улицы не созданы человеком, они выросли сами. Поколения сменяли друг друга, жили, радовались жизни и умирали – тогда не боялись жить, радоваться и умирать. А ты знаешь, что в 1632 году на Копсхилл

была мельница, а половина улиц города была замощена в 1650-м? Я могу показать дома, стоявшие два с половиной столетия, дома, перед которыми свершалось такое, от чего современные коробки рассыпались бы в прах. Что мы ныне знаем о жизни, о силах, управляющих ею? Мы называем колдовство салемских ведьм иллюзиями, но я держу пари – моя четырежды прабабушка могла бы кое-что рассказать. Ее повесили на Гэллоуз-хилл, Висельной горе. А святоша Котон Матер благосклонно глядел на казнь. Матер, черт бы его побрал, вечно боялся, что хоть кто-то вырвется из проклятой клетки монотонного бытия... Жаль, что никто так и не испортил его, не высосал ночью всю кровь из жил.

Могу показать даже дом, где он жил, и еще один дом – куда он так и не посмел войти, невзирая на все смелые речи. Он знал такое, чего не смел поместить в дурацких «Magnalia»² и детских «Чудесах невидимого мира». Кстати, а ты знаешь, что некогда весь Нортэнд был пронизан туннелями, соединявшими дома некоторых людей друг с другом... и с морем и кладбищем? Пусть на земле творятся суд и казнь, но внизу вне досягаемости каждый день происходило другое, и по ночам давились хохотом загадочные голоса.

Видишь ли, клянусь, что в любых восьми домах из каждых десяти, построенных до 1700 года и не перестраивавшихся после этого, в погребке обязательно обнаружится нечто странное. И месяца не проходит, чтобы в газетах не написали о рабочих, обнаруживших заложенные кирпичами арки или колодцы, ведущие в никуда. При разрушении старого дома... ну вот хотя бы на Кучерской в прошлом году. Там жили ведьмы, туда являлись призванные ими духи, пираты приносили туда добычу, контрабандисты тащили товар, заходили каперы... Говорю тебе: в прежние времена люди умели жить и наслаждаться жизнью. И это был единственный мир, который мог познать смелый и мудрый... ха! И представь себе для контраста нынешний день... Эти молочно-розовые создания, которых – избранных, даже художников – повергают в неизменное отвращение творения, выходящие за рамки вкусов, принятых за чаем в домах на Маячной!

Единственное, за что еще можно благодарить нынешний день, так это за то, что он не слишком приглядывается к былому. Что говорят нынешние карты и книги, путеводители Нортэнда? Ба! Берусь, не задумываясь особо, провести тебя по трем или четырем десяткам улочек к северу от Принцевой, о которых не подозревает ни одна живая душа, кроме иностранцев, населяющих этот район. Ну а что они могут знать об этих улочках? Нет, Турбер, старинные закоулки эти дремлют, источают ужасы и чудеса, спасают от обыденности, и ни единой душе не понять этого и не извлечь какую-то выгоду. Ну, одна-то, впрочем, найдется – я ведь ковырялся здесь не за так!

Слушай, такие вещи тебя интересуют. А что, если у меня есть еще одна студия – в тех местах, где я могу вызывать ночных духов и рисовать такое, о чем нельзя даже подумать на Ньюбери-стрит? Естественно, нечего и думать, чтобы сказать об этом в клубе... Проклятый Рейд, черт бы его побрал, и так нашептывает повсюду, дескать, я какое-то чудовище, пытающееся развернуть эволюцию в обратную сторону. Да, Турбер, я давно уже понял, что ужасы, как и красоту, следует писать с натуры. И я искал поэтому в тех местах, где обитает ужас, – у меня были причины знать их.

Я разыскал угол, который, кроме меня, не видели и три живых арийца. Дом стоит не так далеко от наземки. Но для души – отстоит на века. Я снял этот дом из-за старинной кирпичной стены в погребке – как раз из тех, о которых я тебе говорил. Лачуга еле держится, поэтому там никто не хочет жить, и мне стыдно даже говорить, как мало я плачу за нее. Окна забиты, да оно и к лучшему, дневной свет не для того, чем я там занимаюсь. Рисую я в погребке... там вдохновение гуще. Но наверху есть несколько комнат. Дом принадлежит какому-то сицилианцу, я снимаю его под фамилией Питерс. Ну, если ты еще не сдрейфил, могу прихватить сегодня

² Чудеса (лат.).

вечером. Думаю, картины тебе понравятся, говорю же – там я могу кое-что позволить себе. Дорога не дальняя, иногда я хожу туда пешком; знаешь, не хочется привлекать внимание к этому дому появлением такси. Сядем на автобус на Южной станции до Батарейной – оттуда недалеко».

Ну, Элиот, после таких слов мне не осталось ничего, только сдерживаться, чтобы немедленно не броситься за первым же кэбом. На Южной станции мы пересели на наземку и около двенадцати часов уже спускались по ступенькам к Батарейной, а потом повернули вдоль старого порта, мимо верфи «Конституция». Я не следил за поперечными улицами и не могу сказать, где мы свернули, знаю только, что это была не Гриноу-лейн.

Но когда мы свернули, пришлось пробираться вверх по самому старинному и грязному переулку из всех, что мне приходилось видеть... Осыпающиеся островерхие крыши, разбитые крохотные окошки, наполовину обвалившиеся древние трубы пальцами тыкали в лунное небо. Думаю, что там не нашлось бы и трех домов, которых не мог видеть Котон Матер... Во всяком случае, два оказались с блоками наверху. Однажды мне показалось, что я заметил очертания горбатой крыши почти забытого теперь типа, хотя любители старины и утверждают, что в Бостоне их не осталось.

Из этого еще все-таки чуть освещенного переулочка мы свернули в другой, куда более узкий, где света не было вовсе, и через какую-то минуту, как мне кажется, под тупым углом свернули направо... Вскоре после этого Пикмен извлек фонарик и осветил им допотопную дверь с десятью панелями, казавшимися изрядно источенными червяком. Отперев ее, он впустил меня в пустую прихожую, на стенах которой еще держались остатки дубовой обивки времен Андроса и Фиппса... и салемиких ведьм. А потом пригласил в открытую дверь налево, зажег масляную лампу и велел располагаться как дома.

Ну, Элиот, человек я из тех, которых в уличном просторечии называют «крутыми», но признаюсь честно: то, что оказалось на стенах, смутило меня, – я говорю про его картины, те, что он не смел рисовать на Ньюбери-стрит и даже показывать там. Он был прав, когда говорил, что здесь «позволяет себе». Вот – пей же – я сейчас не могу не выпить.

Бесполезно даже пытаться передать их содержание, потому что незаконный, кошмарный ужас, невыносимая мерзость и моральный смрад исходили буквально из любого мазка, не поддаваясь оценке разума. В технике его не было ничего экзотического, как и у Сидни Симэ... никаких трансатурных ландшафтов и лунных грибов, которыми Кларк Эштон Смит умеет заморозить кровь в жилах. Фоном по большей части служили церковные дворы, дремучие леса, утесы у моря, кирпичные туннели, старинные комнаты с обшитыми деревом стенами или просто каменные подвалы. Кладбище на Коппсхилл, расположенное где-то неподалеку, было одним из излюбленных сюжетов.

Всю жуть и безумие источали фигуры на переднем плане – с жутким мастерством Пикмен рисовал то, что вне сомнения можно было назвать портретами бесов. Фигуры редко были человеческими – только в различной степени к ним приближались. По большей части тела их были двуноги, сужались к груди и чем-то напоминали собак. Кожа их чаще казалась гадкой... резиновой, что ли. Ух! До сих пор вижу их! Заняты они были... лучше не спрашивай меня чем. Обычно они ели – не буду говорить что. Иногда группами они оказывались на кладбище или в подземном коридоре и частенько как бы ссорились над добычей – точнее, над сокровищем. И какую же проклятую экспрессивность иногда придавал Пикмен незрячим лицам этой кладбищенской добычи! Иногда твари его запрыгивали в окна ногами, восседали на груди спящих, тербя их горло. На одном холсте целая стая их облаивала ведьму, повешенную на Гэллоуз-хилл; лицо ее было сродни их собственным.

Только не подумай, что я там лишился чувств из-за одной только мерзкой темы в столь подробном развитии. Лица эти были... лица, Элиот, жуткие проклятые лица, наглые, слюнявые, насмехавшиеся на холсте в полном подобии жизни! Бог мой, да я был готов поверить в то,

что они живые! Мерзкий колдун сумел влить адово пламя в свои краски, а кисть его, словно волшебная палочка, порождала кошмар за кошмаром. Дай сюда бокал, Элиот!

Была там одна штука, под названием «Урок»... Господи, помилуй мя за то, что видел ее! Представь себе кружок этих безымянных человекопсов на церковном дворе, обучающих ребенка питаться тем же самым, что и они! Подменили, значит... Помнишь старые сказки, о том, как эльфы оставляют своих подкидышей в детских колыбельках, а детей крадут? Вот Пикмен и показал, что случается с этими украденными детьми – как они растут. Тут я начал замечать ужасное сходство между человеческими лицами и этими мерзкими физиономиями.

Через все градации мерзости он устанавливал явную связь между полностью нечеловеческими рылами и еще сохранившими в себе нечто людское. Его псовидные твари порождены были смертными!

И едва я подумал, а что же, по его мнению, происходит с молодью этих человекособак, подкинутой в людские дома, как мой глаз сразу же наткнулся на картину, посвященную этой теме. Передо мной была комната в старинном пуританском доме; потолок с тяжелыми балками, окна со ставнями... семейство слушает отца, читающего Писание. На каждом лице написано почтение и благородство, только на одном – злонравие преисподней. По летам молодой человек, вне сомнения, считался сыном этого благочестивого отца, но в сущности своей был родней тем нечистым тварям. Вот тебе их подкидыш – и в порядке высшей иронии Пикмен придал наглому юнцу собственные черты.

Тем временем Пикмен уже зажег свет в соседней комнате и, вежливо придерживая дверь, пригласил познакомиться с его последними работами. Высказать свое мнение я был не в силах – испуг и отвращение буквально лишили меня речи, – но, как мне кажется, он все понял и чувствовал себя польщенным. Тем не менее хочу еще раз напомнить тебе, Элиот, что я не из тех хомяков, что зальются визгом, увидев нечто чуточку отличающееся от привычных канон. Я человек немолодой, достаточно повидавший, и, мне кажется, еще во Франции ты мог понять, что меня не так легко потрясти. Помни – я уже вроде пришел в себя, даже привык к этим странным картинам, делавшим из колониальной Новой Англии отделение ада. И невзирая на все это, на пороге следующей комнаты я завопил... мне пришлось вцепиться в дверь, чтобы не упасть. В оставшемся позади помещении стаи упырей и ведьм населяли мир наших предков, но новая комната наполняла ужасами нашу повседневную жизнь. Боже, что это был за художник! Одна картина называлась «Случай в подzemке». Стая мерзких тварей лезла из неведомой катакомбы через щель, разверзшуюся в полу станции Бойлстон-стрит, первые уже набрасывались на толпу людей на платформе. На другой картине изображена была бесовская пляска на Коппсхилле, каким он предстает перед нами сегодня. А потом пошли сцены из жизни подzemелья, и чудовища лезли через дыры и трещины, ухмылялись из печей и бочонков, поджидали жертву, затаившись под лестницей.

Один отвратительный холст изображал огромный разрез Маячного холма; подобные муравьям смрадные чудища сновали по пронизавшим землю ходам. Потом опять пошли пляски на современных кладбищах, а за ними оказалась картина, потрясшая меня более прочих, – дело происходило в неведомой гробнице. Стая тварей окружала одну, державшую в лапах известный путеводитель по Бостону и явно читавшую выдержки из него вслух. Всех явно развлекал какой-то пассаж, и физиономии были искажены столь гулким эпилептическим хохотом, что мне уже начало казаться, будто дьявольское эхо доносится и до меня. Подпись под картиной гласила: «Так Холмс, Лоуэлл и Лонгфелло погребены в Осенней горе».

Постепенно отрываясь от стен, привыкая к наполнявшей второй зал дьявольщине и мерзости, я начал помаленьку анализировать причины тошнотворного отвращения. Во-первых, говорил я себе, твари эти отвратительны потому, что Пикмен показал их в предельной бесчеловечности и злорадной жестокости. Этот художник наверняка безжалостный враг всего человечества, иначе откуда такое наслаждение муками плоти и мысли, деградацией моральных основ?

Во-вторых, картины ужасны потому, что великолепны. Искусство их убеждало... и на картинах, вселяя страх, представляли сами демоны. Странно было и что Пикмен не прибегает к внешним эффектам: никаких искажений, ничего расплывчатого. Все контуры четки, очертания наполнены жизнью, детали проработаны почти с болезненной точностью. И еще эти лица!

Передо мной представала не какая-то интерпретация художника; пандемониум во всей своей мерзости, кристально четкий, наглядный и реальный. Реальный, клянусь Небом! Этот человек не был ни романтиком, ни фантастом – он и не думал передавать зрителю смутные видения и химеры, просто спокойно и деловито, невозмутимо, с холодным сердцем и насмешкой на устах открывал тот стабильный и механический, вполне устоявшийся мир ужасов, который ему виделся... полностью, без пропусков и искажений, во всем бесовском разгуле. Один Господь знает, где он подглядел этот мир, откуда взял кошунственные формы, ползавшие, бегавшие и прыгавшие по нему. И, каким бы неожиданным ни оказался источник этих видений, ясно было одно: с точки зрения замысла и исполнения Пикмен был внимательным, дотошным реалистом, проявляя почти наукоподобную верность деталям.

Хозяин мой уже спускался в погреб – в свою студию, – и я приготовился уже к новым адским мукам среди неоконченных работ его. Когда, сойдя по влажной лестнице, мы достигли дна, он посветил фонариком в угол, обнаружив там кольцо, выложенное из кирпича в земляном полу, – там некогда находился колодец. Приблизившись к нему, я заметил, что он был футов в пять поперечником, стенки в добрый фут толщиной выступали из земли дюймов на шесть... Добротная работа, семнадцатое столетие, если я не ошибся. Вот, проговорил тогда Пикмен, об этом он и рассказывал... Передо мной лежал вход в сеть туннелей, пронизывающих весь холм. Я праздно отвечал, что, судя по виду, его не собирались закладывать, и наиболее подходящей крышкой может послужить деревянная. Представив себе, какие твари могут вынырнуть из нее, если безумные намеки Пикмена не пустая риторика, я слегка поежился, а затем, поднявшись на ступень, следом за хозяином вошел в узкую дверь, за которой оказалась довольно просторная комната с деревянным полом, отделанная под студию. Необходимый для работы свет давал ацетиленовый рожок.

Неоконченные работы, стоявшие на мольбертах или прислоненные к стенам, были столь же гнусны, как и законченные – наверху, и во всех подробностях характеризовали одержимость художника. Сцены компоновались с предельной тщательностью, карандашные линии свидетельствовали о дотошности, с которой Пикмен выдерживал правильную перспективу и пропорции. Он был великий человек, я повторяю это и теперь, зная все. Внимание мое привлекла большая фотокамера на столе, и Пикмен пояснил, что использует ее для точного выполнения фона, что вполне можно рисовать виды с фотографий, а не торчать с мольбертом в нужном месте. Фотография, с его точки зрения, поставляла вполне доброкачественный материал для дальнейшей работы. По его словам, к этой методе он прибегал регулярно. В тошнотворных набросках и различных полуоконченных чудесах, что пилились на меня отовсюду, виднелось нечто очень тревожное. И когда Пикмен вдруг открыл огромный холст в затененном углу, я не сумел подавить вопля – второй раз за всю эту ночь. Отражаясь от сводов, звук загулял по древнему затхлому подземелью, и мне пришлось изрядно потрудиться, чтобы подавить истерический хохот. Благословенный Творец! Элиот, не знаю, что там было порождено реальностью, а что лихорадочной фантазией. Только думается, что земле не вынести подобного сна.

Передо мной было колоссальное безымянное богохульство с горящими красными глазами, и в костистых пальцах оно вертело некую штучку, оказавшуюся человеком, и обсасывало его голову, как дитя карамельку на палочке. Оно пригибалось к земле и, казалось, вот-вот бросит свою добычу ради кусочка послаще. Но, будь он проклят, не сам этот дух злобы вызвал столь самозабвенный ужас, – нет, не собачья морда его, не остроконечные уши, не налитые кровью глаза, не плоский нос, не оттопыренные губы и не чешуйчатые лапы, не тело, покры-

тое гнилью, не раздвоенные копыта... нет, хотя любой из этих подробностей достаточно было, чтобы свести с ума человека более возбудимого.

Это была техника, Элиот, проклятая, кошунственная, сверхъестественная! Я и сам – живое существо, но мне никогда не приходилось видеть, чтобы дыхание жизни находило такое отражение на холсте. Передо мной было чудовище – яростно глядя, оно глодало. Глодая, оно жутко глядело, а я понимал, что, только отменив законы природы, может человек написать подобную вещь без натуры... не заглянув хотя бы в тот самый мир, куда нельзя ступить никому, не продавшему душу дьяволу.

К свободному участку холста был пришпилен кнопкой свернувшийся в трубочку листок бумаги... Я подумал, что это фотография, с которой Пикмен собирался написать фон, не менее мерзкий, чем гнусность, которую это окружение должно было подчеркнуть. Я потянулся, чтобы развернуть его, но вдруг Пикмен вздрогнул, словно подстреленный. После того как вырвавшийся у меня в потрясении крик пробудил к жизни необычное эхо, он все прислушивался с особой внимательностью и теперь казался даже испуганным, но не так, как я, – в физическом плане, а не в духовном. Он достал револьвер и жестом приказал мне молчать, а затем шагнул в главное помещение подвала, закрыв за собой дверь.

Кажется, на миг я словно окаменел. Повторяя движения Пикмена, я прислушался; мне представилось, что вдали – непонятно с какой стороны – раздается визг и какой-то топот. Мне представились огромные крысы, я поежился. А потом послышался негромкий стук, от которого по телу мурашки пошли, нерешительный, неуверенный, хотя я не могу передать словами то, что имел в виду. Словно бы дерево или кость стучала по кирпичу... деревом по кирпичу... не копытом ли?

Звук повторился, становясь громче. Пол задрожал – словно дерево упало рядом. А после этого послышался скрежет. Пикмен выкрикнул какую-то тарабарщину и с оглушительным грохотом разрядил револьвер, все шесть патронов – так укротитель львов стреляет в воздух, чтобы произвести впечатление. Негромкий визг... потом стук и опять деревом по кирпичу... и после недолгой паузы отворилась дверь. Признаюсь, меня передернуло. Пикмен появился с дымящимся револьвером и принялся проклинать крыс, докучавших ему в подвале.

«Черт знает, что они здесь едят, Турбер, – ухмыльнулся он, – но эти старинные туннели выходят и на кладбище, и к морю, и к ведьмину логову. Твой крик всполошил их, так я думаю. Надо быть поосторожнее в этих старинных местах – крысы здесь единственный недостаток, хотя иногда мне кажется, что они усиливают впечатление, создают соответствующую атмосферу».

Вот так, Элиот, и завершилось ночное приключение. Пикмен обещал показать мне это место и показал. Обрато он повел меня другим путем, тоже через путаницу переулков, и когда мы заметили первый фонарь, то оказались на полужнакомой улице с ровными рядами доходных домов и старинных сооружений. Это оказалась Чартер-стрит, но я был слишком потрясен, чтобы заметить, в каком именно месте мы вывернули на нее. Для наземки было чересчур поздно, и мы пошли вниз в город по Ганновер-стрит. Помню я ту прогулку. С Тремонт мы поднялись на Маячную, и Пикмен оставил меня на углу Радостной, куда я свернул. Более мне не приходилось говорить с ним.

Почему я оставил его? Не торопись, подожди, я пока позвоню, чтобы принесли кофе. Этого зелья с нас уже хватит, но душа еще просит чего-то... Нет, причиной тому были не все эти картины, хотя, клянусь тебе, за них его бы выставили из каждого девятого из десяти домов и клубов Бостона; я думаю, теперь ты не удивляешься, почему я стараюсь держаться подальше от подземки и погребов. Дело было в том, что обнаружилось в кармане моего пальто на следующее утро. Помнишь свернувшееся в трубочку фото на жутком холсте в погребе, я-то решил тогда, что с него он будет перерисовывать фон для чудовища. Я как раз начал разворачивать его, и

тут этот испуг... словом, я в рассеянности отправил фото к себе в карман. Вот кофе... Элиот, будь умницей, не надо разбавлять его.

Вот тебе причина, по которой я расстался с Пикменом... эта бумажка. Ричард Антон Пикмен, величайший художник из всех, о ком я слышал... И самая грязная тварь из тех, что топтали пределы жизни, прячась в рывтинах мифа и безумия. Элиот, старина Рейд оказался прав. Пикмен был не совсем человек. Или он родился под странной тенью, или научился отпирать запретные ворота. Теперь это безразлично, он исчез – вернулся в пределы мрака, которые так любил. Эй, дай-ка сюда подсвечник.

Не спрашивай, что я сейчас скажу. Не спрашивай у меня и что там за шум был в погребке, когда Пикмен удачно свалил все на крыс. Знаешь, некоторые тайны восходят аж к салемамским временам, а Котон Матер рассказывал еще более странные вещи. Ты помнишь, насколько живыми казались картины Пикмена и как все мы гадали, откуда берет он свои жуткие лица?

Ладно... На фотографии этой не было никакого фона, он просто перерисовал с нее чудище на холст. Оно позировало – а позади была только стенка погреба во всех подробностях. И клянусь Господом, Элиот: фотография была снята в том самом подвале.

Цвет иного мира

К западу от Аркхема холмы становятся круче, и здесь много долин с густыми лесами, где никогда не гулял топор. Здесь темные узкие лощины, на крутых склонах чудом удерживаются деревья, а в узеньких ручейках даже в летнюю пору не играют солнечные лучи. На пологих склонах стоят старые фермы, древние и каменные, с приземистыми и заросшими деревянными постройками, хранящими вековые тайны Новой Англии; сейчас все они опустели, широкие трубы растрескались, а покосившиеся стены едва удерживают громоздящиеся сверху мансарды.

Старожилов уже не стало, а чужаки здесь не прижились. Здесь пытались селиться франкоговорящие канадцы, затем итальянцы, потом поляки – они приезжали, но затем уезжали. Вовсе не потому, что что-то слышали или увидели, а потому, что чего-то вообразили. В этом месте воображение пробуждалось и рождало мрачные фантазии, лишаящие спокойного сна. Из-за этого чужаки и спешили уехать прочь, хотя старый Эмми Пирс не рассказывал им ничего из того, что помнит о тех странных днях. Эмми, с годами ставший совсем чудной, единственный, кто продолжает жить здесь и иногда рассказывает о тех странных днях; да и то осмеливается делать это лишь потому, что через поле за его домом можно быстро добраться до постоянно оживленной дороги, ведущей в Аркхем.

Когда-то по холмам и долинам проходила дорога, ведущая прямо через опаленную пустошь; но теперь она давно заброшена, а новая дорога огибает пустошь с юга. Следы прежней сохранились среди запустения и останутся, даже когда большинство низин будут затоплены ради нового водохранилища. Темный лес вырубят, а опаленная пустошь окажется под голубой водной гладью, в которой отражается небо и рябью расходятся отблески солнца. И тайны тех странных дней присоединятся к тайнам, покоящимся на дне; присоединятся к скрытым знаниям древнего океана и тайнам первобытной земли.

Когда я отправился по холмам и долинам намечать границы будущего водохранилища, меня предупредили, что это место, где обитает зло. Разговоры о пустоши я слышал еще в Аркхеме, но поскольку этот старинный городок полон преданий о ведьмах, я решил, что это болтовня того типа, что бабушки нашептывают своим внукам. Название «опаленная пустошь» показалось мне странным и каким-то театральным; непонятно, как оно могло попасть в предания благочестивых пуритан. Затем мне довелось увидеть здешнюю темную мешанину речных долин и крутых склонов, и я стал серьезнее относиться к древним тайнам этого края. В пустоши я оказался утром, но все покрывала густая тень. Деревья росли слишком близко друг к другу, и стволы у них были слишком толстыми для нормального, здорового леса Новой Англии. Под их кронами было слишком тихо, а земля после долгих лет запустения стала мягкой и покрылась мхом.

На открытых местах вдоль прежней дороги сохранились заброшенные фермы; в некоторых уцелели и дома, и все пристройки, в других – дом и несколько сараев, а кое-где остались лишь труба или погреб. Здесь царствовали сорняки и вереск, и что-то неуловимо дикое чудилось в этой поросли. Во всем ощущалось беспокойство и вместе с тем уныние, прикосновение нереального и гротескового, словно неведомая сила исказила перспективу или контрастность. Неудивительно, что все иностранцы не задерживались здесь – спать в таких местах действительно невозможно. Местность очень походила на пейзажи Сальватора Розы; походила на гравюру, иллюстрирующую нечто запретное, прилегающую к ужасной истории.

Но все это не шло ни в какое сравнение с самой опаленной пустошью. Я понял это, как только оказался в низине посреди просторной долины; ибо никакое иное название этому месту не подошло бы, а другую впадину так не называли бы. Словно бы некий поэт посетил сей необычный край и чеканно выдал определение. Можно было подумать, что пожар очистил

здесь землю, но почему затем на пяти краях так ничего и не выросло и они зияли среди полей, как проеденное кислотой большое серое пятно? Пустошь тянулась к северу от заброшенной дороги, но немного заползала и на другую сторону. Мне не хотелось приближаться к ней, но та задача, ради которой я здесь оказался, не позволяла ее обойти. Тут не росло ни травинки, а землю покрывали груды серой пыли или пепла, почему-то не разметаемые порывами ветра. По краям пустоши росли чахлые, низкие деревья, а на границе попадались омертвевшие или догнивающие на корню стволы. Я прибавил шаг, заметив справа остатки кирпичной кладки от печной трубы и входа в погреб и черный зев заброшенного колодца, над которым засто-явшиеся пары причудливо искажали блики солнечного света. Даже полоса темного мрачного леса в сравнении с пустошью казалась приветливым местечком, и боязливое перешептывание жителей Аркхема перестали казаться мне удивительными. Поблизости не было каких-либо других домов или руин – наверное, с давних пор это место считалось глухим и уединенным. Возвращаясь в сумерках, я не решился вновь пересечь пустошь и добрался до города проходящей южнее дорогой. При этом полное отсутствие облаков тревожило меня, ибо некая странная обеспокоенность все глубже проникала в мою душу из бескрайнего небесного простора.

Вечером я поинтересовался в Аркхеме у стариков об опаленной пустоши и что за «странные дни», о которых стараются не говорить. Внятного ответа я не получил, но понял, что тайна довольно свежего происхождения. Здесь было замешано не древнее предание, а события, имевшие место при жизни моих собеседников. Это случилось в восьмидесятые годы, и некая семья то ли исчезла, то ли была убита. Старики путались в своих воспоминаниях, но все как один просили не принимать всерьез бредовые рассказы старого Эмми Пирса. К нему я и навед-дался следующим утром, узнав, что он живет один в старом шатком доме, бревна которого уже начали распухать. Его жилище на вид казалось ужасно древним, от него исходил гниловатый запах, характерный для домов, простоявших слишком долго. Мне пришлось стучать понастой-чивее, но когда старик наконец вышел к двери, нельзя было сказать, что мое появление его совсем не обрадовало. Выглядел он не таким дряхлым, как я ожидал, но глаза его были странно потуплены, а неряшливая одежда и запущенная борода красноречиво свидетельствовали, что он ведет одинокий образ жизни и ни с кем не общается.

Не зная, как его разговорить, я сделал вид, что некая информация потребовалась мне для дела; рассказал ему о прогулке по окрестностям и задал несколько вопросов вообще о здешних краях. Он оказался человеком неглупым и гораздо более образованным, чем меня уверяли, во всяком случае не хуже любого другого, с кем я беседовал на эту тему в Аркхеме. В отличие от других местных жителей, с которыми я общался, проживающих в местах затопления, Эмми не возражал против того, что многие акры полей и лесов окажутся под водой, хотя, возможно, потому что его дом был недалеко от дороги, вне границ будущего озера. По нему даже было заметно, что он испытывает облегчение; облегчение вызывал у него тот факт, что мрачные долины, исхоженные им за долгую жизнь вдоль и поперек, наконец исчезнут. Лучше, чтобы они оказались под водой, сказал он. После тех странных дней – лучше, чтобы их затопило. На этом откровении его сиплый голос перешел в шепот, он наклонился и погрозил кому-то указательным пальцем правой руки.

После чего я и услышал эту историю. От его тихого бормотания, иногда переходящего в шепот, меня не раз пробирал озноб, хотя день выдался по-летнему жарким. Мне приходилось часто прерывать старика, чтобы уточнять высказывания ученых, которые он запомнил без понимания их, и восстанавливать порядок событий, когда он вдруг перескакивал и логичность изложения пропадала. Когда он закончил свой рассказ, я уже не удивлялся, что память его подводила, а старики в Аркхеме и вовсе не желали говорить об опаленной пустоши. Я торопился вернуться в отель до заката, чтобы не бродить по глухой местности в свете одних лишь звезд, а наутро выехал в Бостон, предполагая никогда больше сюда не возвращаться. У меня не было ни малейшего желания снова идти через полумрак темного леса или еще раз увидеть

серую опаленную пустошь, черный зев колодца и остатки кирпичной кладки возле него. Скоро здесь будет водохранилище, и все тайны окажутся на его дне. Но даже тогда я постараюсь не оказываться в окрестных долинах ночью, а тем более при зловещем сиянии звезд; и если мне доведется еще раз побывать в Аркхеме, я ни за что не стану там пить водопроводную воду.

Все это началось с метеорита, сказал старый Эмми. А до того в наших местах каких диковинных легенд и слухов не было давно, наверное, со времен охоты на ведьм, и даже тогда этих западных лесов и вполтину так не боялись, как маленького острова на Мискатонике, где дьявол вершил суд возле древнего каменного алтаря, установленного там еще до индейцев. В здешних лесах ничего страшного не обитало, и до тех странных дней их фантастический полумрак не вызывал ни у кого ужаса. Но как-то днем на небо выплыло большое облако, послышались взрывы в воздухе, а над долиной за лесом поднялся столб дыма. К вечеру весь Аркхем знал, что с неба на ферму Нейхема Гарднера упала огромная скала и провалилась в землю возле колодца. В ту пору посреди нынешней опаленной пустоши стоял дом – ухоженный белый дом Нейхема Гарднера, окруженный цветниками и фруктовым садом.

Нейхем направился в город рассказать о камне и по дороге заглянул к Эмми Пирсу. Эмми тогда было около сорока, поэтому все странности он усваивал очень хорошо. На следующее утро Эмми с женой отправились вместе с тремя профессорами из Мискатоникского университета на ферму Нейхема, чтобы посмотреть на странного посетителя из неизведанных далей межзвездного пространства, и ученых удивило, что Нейхем днем раньше назвал камень огромным. «Он уменьшился», – сказал Нейхем и указал на большой светло-бурый холм на земле и обгоревшую вокруг него траву возле архаичного колодца, снабженного журавлем, на дворе его фермы; но ученые мужи возразили, что камни не уменьшаются. От камня все еще исходил жар, и, по словам Нейхема, ночью он чуть заметно светился. Профессора постучали по нему геологическим молотком и обнаружили, что он мягкий, почти как пластмасса; они скорее отщипнули, чем откололи кусочек, чтобы забрать в университет для исследований, и унесли его в старой бадье, позаимствованной на кухне Нейхема, поскольку и маленькая частица метеорита отказывалась охлаждаться. На обратном пути ученые заглянули к Эмми, чтобы передохнуть, и оказались озадачены замечанием миссис Пирс, что кусочек стал меньше и постепенно прожигает днище бадьи. Кусочек и в самом деле был небольшой, но возможно, что им только показалось, что он был больше, когда его отщипнули.

На следующий день – а происходило все это в июне 1882 года – профессора всей гурьбой в большом волнении отправились на ферму. Заглянув по дороге к Эмми, они рассказали ему, какие фокусы выделял кусочек метеорита, прежде чем полностью исчез после того, как его поместили в стеклянную колбу. Колба тоже исчезла, и ученые мужи рассуждали о сродстве странного камня с кремнием. Он вел себя в их образцовой лаборатории невероятным образом. Никак не отреагировал на нагревание на древесном угле и не выявил поглощенных газов; капля буры не дала никакого результата; проявил полное безразличие к нагреву до высокой температуры, включая даже кислородо-водородную сварочную горелку. Оказался легко ковким, и в темноте было зафиксировано его свечение. Упрямо отказывался охлаждаться, что вызвало в университете настоящий переполох; спектроскоп выявил в нем яркие группы полос, не соответствующих никаким известным веществам, что породило высказывания о новых элементах, причудливых оптических свойствах и прочих вещах такого рода, какие говорят озадаченные ученые, когда не хотят признавать, что столкнулись с неведомым.

Несмотря на то, что образец был горячий, его поместили в тигель и проверили на реакции со всеми надлежащими реагентами. Вода не оказала никакого воздействия. Соляная кислота точно так же. Азотная кислота и царская водка шипели и брызгались из-за температуры его неуязвимой поверхности. Эмми с трудом припоминал это, но узнал некоторые названия, когда я перечислил применяемые в таких случаях растворители. Среди них были нашатырный спирт и едкий натр, спирт и эфир, вонючий двусернистый углерод и дюжина других; и хотя за

время исследований он стал еще меньше и немного остыл, в составе растворителей не обнаружилось никаких изменений, показывающих, что они вступили во взаимодействие с веществом. Несомненно, это был металл. Как минимум, это вещество обладало магнитными свойствами; и после погружения в кислотные растворители на нем удалось заметить слабые следы видманштеттеновых фигур, какие находили на метеоритном железе. Когда образец стал менее горячим, исследования стали проводить в стеклянных колбах; и в стеклянную колбу сложили затем все мелкие кусочки, отделенные от исходного образца для проведения опытов. Наутро же как образец, так и его кусочки бесследно исчезли вместе с колбой, оставив на деревянной полке обгорелый след.

Все это профессора рассказали Эмми, задержавшись ненадолго возле его дверей, и он снова отправился с ними посмотреть на каменного посланца со звезд, на сей раз без жены. Метеорит вполне заметно уменьшился, и даже скептически настроенные ученые не могли отрицать того, что видели. Вокруг худеющей коричневой глыбы возле колодца образовалось пустое пространство с впадинами, из-за чего земля местами осыпалась, а ширина глыбы, вчера составлявшая семь футов, стала меньше пяти. Она по-прежнему была горячей, и мудрецы с любопытством изучили ее поверхность, затем с помощью молотка и стамески откололи еще один кусок, покрупнее. На сей раз они продолбили метеорит глубже и обнаружили, что его структура не вполне однородная.

Внутри они обнаружили нечто вроде крупной сверкающей глобулы, окруженной уже знакомым им веществом. Цвет ее, отчасти напоминающий некоторые группы полос исследованного накануне спектра, описать было почти невозможно; да и вообще назвать это цветом можно было лишь условно, из-за невозможности подобрать какое-то другое слово. Глобула была гладкой и, как показало постукивание, тонкостенной и полый. Один из профессоров врезал по ней молотком изо всей силы, и она с неприятным хлопком лопнула. Внутри нее не оказалось ничего, никакого вещества или газа, и сама она бесследно исчезла. На ее месте осталась полость около трех дюймов в диаметре, наводящая на мысль, что, возможно, в этом веществе скрыты и другие глобулы, которые откроются по мере испарения камня.

Строить догадки было бесполезно, так что после неудачных попыток буравить метеорит в поисках других глобул исследователи уехали, забрав с собой новый образец, который, как потом выяснилось, повел себя в лаборатории ничуть не лучше своего предшественника. Помимо того что он вел себя почти как пластмасса, был горяч, слегка светился, немного охлаждался в сильных кислотах, обладал уникальным спектром и испарялся на воздухе, он вступал в бурную реакцию с кремнием, в результате которой оба компонента просто исчезали. По результатам всех этих опытов ученые университета вынуждены были признать, что не могут классифицировать это вещество. Ничего подобного на Земле не встречалось, это был осколок из иного мира, наделенный непонятными иными свойствами и подчиняющийся иным законам.

В тот день вечером разразилась гроза, и когда на следующий день профессора в очередной раз приехали к Нейхему на ферму, их ждало горькое разочарование. У камня, обладавшего, как уже было установлено, магнитными свойствами, должно быть, оказалась специфическая притягательность для электричества, ибо, по словам Нейхема, он то и дело «притягивал молнии». За час фермер насчитал шесть вспышек, но когда гроза закончилась, от камня осталась только яма возле старого колодца, полузасыпанная из-за обвалившихся краев. Попытки копать ни к чему не привели, и ученые констатировали факт исчезновения метеорита. Им не оставалось ничего другого, как вернуться в лабораторию и продолжить исследования тающего с каждым днем обломка, который они хранили в свинцовом ящике. Он просуществовал неделю, за которую они так и не узнали ничего нового. Когда же он исчез, не оставив никакого следа, спустя какое-то время профессора уже и сами не были уверены в том, что видели своими глазами этот странный обломок из окружающих нас бездн пространства, этого одинокого

таинственного вестника из иных вселенных, где царят иные законы материи, энергии и вообще существования.

Вполне естественно, что аркхемские газеты при поддержке университета устроили грандиозную шумиху по поводу метеорита и послали корреспондентов пообщаться с Нейхемом Гарднером и членами его семьи. Статью о метеорите напечатала и как минимум одна бостонская газета, после чего Нейхем стал местной знаменитостью. Это был худощавый, приветливый человек лет пятидесяти, проживающий с женой и тремя сыновьями на приятного вида ферме. Он и Эмми частенько заглядывали друг к другу в гости, как и их жены, и даже спустя полвека Эмми с теплотой отзывался о нем. Похоже, Нейхему немного льстило, что его ферма привлекла такое внимание, и в последующие недели он часто заводил речь о метеорите. Июль и август в том году выдались жаркими, и Нейхем целыми днями косил и заготавливал на зиму сено на десятиакровом пастбище по ту сторону Коробейниковского ручья, так что его дребезжащая повозка проложила туда глубокую колею. Работа утомляла его сильнее, чем в прошлые годы, и он решил, что начинает сказываться возраст.

Затем настала пора сбора урожая. Груши и яблоки неторопливо наливались соком, и Нейхем клялся, что такого урожая в его садах еще не бывало. Плоды выросли на удивление крупные и крепкие, и к тому же в таком изобилии, что пришлось заказать еще бочек для хранения и перевозки будущего урожая. Но когда все созрело, на Гарднера обрушилось первое разочарование, ибо среди всех этих великолепных на вид плодов не нашлось ни одного съедобного. К нежному вкусу груш и яблок оказалась примешана такая горечь, что даже самый маленький съеденный кусочек вызывал долгое отвращение. То же самое произошло с дынями и помидорами, и Нейхем с печалью осознал, что весь его урожай потерян. Будучи вполне сообщительным, он заявил, что метеорит отравил почву, и благодарил небеса за то, что большинство его посадок зерновых были на возвышенных местах в стороне от дороги.

Зима наступила рано и была очень холодной. Эмми виделся с Нейхемом реже обычного, но заметил, что тот выглядит озабоченным. Другие члены его семьи тоже как будто стали молчаливы и замкнуты, реже появлялись в церкви и на всяких общественных мероприятиях. Никаких явных причин для такой скрытности или меланхолии не было, хотя время от времени то один, то другой из Гарднеров жаловался на здоровье и нервное расстройство. Сам Нейхем высказал вполне определенную причину своего беспокойства: в округе фермы на снегу появились непонятные следы. Это были обычные следы белок, зайцев и лисиц, но погруженный в раздумья фермер утверждал, что они какие-то неправильные. Он не пытался объяснить это точнее, но полагал, что они не вполне соответствуют повадкам и анатомии белок, зайцев и лисиц. Эмми не обращал особого внимания на эту болтовню до тех пор, пока ему не довелось однажды возвращаться поздно вечером домой из Кларкс-Корнерз мимо дома Нейхема. Светила луна, и заяц перебежал дорогу, а прыжки этого зайца были такими длинными, что ни Эмми, ни его коню это не понравилось. Последний чуть было не пустился во весь опор, но Эмми, к счастью, его удержал. С тех пор он с большим доверием стал относиться к рассказам Нейхема и задумался, отчего собаки Гарднеров каждое утро кажутся запуганными. Сначала они просто жались по углам, а затем и вовсе как будто разучились лаять.

В феврале мальчишки Макгрегоров из Мидоу-хилл отправились охотиться на сурков и неподалеку от фермы Гарднеров подстрелили странного зверька. Пропорции его тела оказались неправильными, но как именно – описать это невозможно, а на мордочке застыло выражение, какого у сурков никогда прежде не бывало. Мальчишки перепугались и бросили его, поэтому все остальные узнали об этом только из их гротесковых рассказов. Однако то, что лошади возле дома Нейхема ускоряют шаг, заметили многие, и это положило основу легендам, окружающим это место.

Весной люди божились, что возле фермы Гарднеров снег тает гораздо быстрее, чем во всех остальных местах, а в начале марта в лавке Поттера в Кларкс-Корнерз состоялось оче-

редное возбужденное обсуждение. Проезжая в этот день утром мимо фермы Гарднера, Стивен Райс обратил внимание на поросль скунсовой капусты, пробившуюся вдоль дороги там, где ее пересекала полоса леса. Ему никогда в жизни не доводилось видеть скунсовую капусту такого огромного размера и такого странного цвета, который невозможно описать словами. Вид у растений был отвратительный, и лошадь зафыркала, учуяв их аромат, который Стивену показался совершенно ни на что не похожим. Днем несколько человек съездили посмотреть на диковинку, и все согласились, что на здоровой земле такое не вырастет. Тут все вспомнили о пропавшем осенью урожае, и вскоре по всей округе расползся слух, что земля возле фермы Нейхема отравлена. Без сомнения, виноват был метеорит; и, вспомнив, что люди из университета рассказывали о нем удивительные истории, фермеры решили поговорить с ними о недавних событиях.

Наконец ученые снизошли до посещения фермы Нейхема, но, не имея склонности доверять легендам и диким рассказам, оказались довольно консервативными в своем заключении. Растения действительно выглядят странно, но скунсовая капуста вообще обычно имеет странную форму и окраску. Возможно, какая-то минеральная составляющая метеорита и в самом деле попала в почву, но скоро она будет вымыта из нее. А что касается следов на снегу и испуга лошадей, то это обычные деревенские байки, порожденные, несомненно, таким редким научным явлением, как аэролит. Серьезному человеку не следует обращать внимание на эти дикие выдумки, рассчитанные на суеверных сельских жителей, готовых принять на веру любую чушь. И пока длились странные дни, профессора продолжали высокомерно придерживаться этой же позиции. Лишь один из них, когда спустя полтора года полиция дала ему для анализа две колбы с пылью, вспомнил, что цвет скунсовой капусты был в точности как одна из групп спектральных полос при исследовании на спектрометре кусочка метеорита, а также хрупкой глобулы, найденной в самом камне. Образцы пыли имели этот же цвет, однако со временем поблекли.

Почки на деревьях возле фермы Нейхема набухли раньше времени, и по ночам их ветки зловеще шелестели на ветру. Тадеуш, средний сын Нейхема, парень лет пятнадцати, клялся, что они раскачиваются и тогда, когда ветра нет, но даже заядлые сплетники не приняли его слова всерьез. Однако беспокойство словно витало в воздухе. Гарднеры приобрели привычку прислушиваться к чему-то, хотя и не слышали при этом каких-то звуков, которые могли бы опознать. В те мгновения, когда они прислушивались, их сознание словно бы отсутствовало. К сожалению, со временем это случалось все чаще, и вскоре окружающие утвердились во мнении, что «с семьей Нейхема что-то неладно». Когда расцвела камнеломка, цвет у нее был странный, но иной, не как у скунсовой капусты, однако в чем-то похожий и тоже такой, какого никто прежде никогда не видел. Нейхем отвез несколько цветов в Аркхем редактору «Газетт», но этот солидный господин снизошел лишь до того, что опубликовал шутливую статью о невежестве и суевериях сельских жителей. Нейхем совершил ошибку, рассказав солидному горожанину о том, что над этими камнеломками вились бабочки-траурницы огромного размера.

В апреле на окрестных фермеров что-то нашло и они перестали ездить по дороге, проходящей мимо фермы Нейхема, отчего та вскоре стала совсем заброшенной. Виновата была растительность. На плодовых деревьях распустились цветки странного цвета, а сквозь каменистую почву двора фермы и ближайших пастбищ пробились странные растения, которые, наверное, только ботаник смог бы соотнести с какой-то местной флорой. Лишь мелкая травка и листва остались зелеными. Вблизи фермы не было ни дерева, ни куста нормального цвета, во всем проглядывали различные вариации того самого нездорового цвета, прежде неизвестного на Земле. «Штаны голландца», казалось, источали угрозу, а в извращенных цветах лапчатки виделось что-то порочное. Эмми и Гарднеры решили, что растительность цветом схожа с глобулой из метеорита. Нейхем вспахал и засеял десятиакровое пастбище и поле на холме, но не стал обрабатывать землю вокруг дома. Сажать что-либо здесь не имело смысла, и он лишь надеялся, что странная растительность высосет из земли всю отраву. Он был готов теперь к

любимым неожиданностям, но не мог избавиться от ощущения, будто рядом с ним кто-то прячется и ждет, чтобы его услышали. Конечно, на нем сказывалось то, что соседи избегали его; но еще больше это сказывалось на его жене. Сыновья от этого страдали меньше, поскольку каждый день ходили в школу; но они не могли оставаться равнодушными к сплетням. Тадеуш, самый впечатлительный из них, тяжело переживал из-за сложившегося отношения соседей к его семье.

В мае появились насекомые, и ферма Нейхема превратилась в жужжащий и шевелящийся кошмар. Большинство этих созданий казались не совсем обычными видом и размерами, а их ночное бодрствование противоречило всему прежнему опыту фермера. Гарднеры стали по ночам следить за окрестностями – вглядывались в окружающую дом в темноту, со страхом выискивая сами не ведая что. При этом они убедились, что Тадеуш был прав, говоря о деревьях. Однажды, сидя у окна, миссис Гарднер посматривала на разлапистые ветви клена, отчетливо видные в лунную ночь. Эти ветви определенно покачивались, хотя никакого ветра не было. Несомненно, это проявляла себя жизненная сила самого дерева. Все растущее вокруг сделалось странным. Однако следующее открытие сделал человек, не имевший никакого отношения к семейству Гарднеров. Внимание их притупилось, и они не видели того, что сразу же заметил робкий продавец ветряных генераторов из Болтона, который проезжал мимо ночью, не ведая о местных сплетнях. Из того, что он рассказал в Аркхеме, сделали короткую заметку в «Газетт», а из нее об этом узнали окрестные фермеры и сам Нейхем. Ночь выдалась темная, фонари на крыльях пролетки были слабые, но когда коммивояжер спустился в долину фермы Нейхема, окружающая его тьма стала менее густой. Вся растительность – трава, кусты, деревья – испускала тусклое, но хорошо различимое свечение, и в какой-то момент ему почудилось, что нечто особенно яркое шевелится во дворе возле сарая.

Пока что трава возле фермы казалась вполне нормальной, и коровы паслись неподалеку от дома, но к концу мая молоко у них испортилось. Тогда Нейхем перегнал стадо на пастбище на холме, после чего все пришло в норму. Но вскоре после этого изменения в траве и листе стали заметны для глаз. Зеленые растения становились серыми и делались чахлыми и ломкими. Из посторонних ферму посещал только Эмми, да и то все реже и реже. Когда школа закрылась на лето, Гарднеры фактически потеряли связь с внешним миром, но иногда поручали Эмми сделать чего-то в городе. Вся семья постепенно угасала как физически, так и умственно, и никто не удивился, когда по округе распространилась весть, что миссис Гарднер сошла с ума.

Это случилось в июне, почти через год после падения метеорита; несчастная женщина кричала, что видит что-то в воздухе, чего не может описать. Сама речь ее стала малопонятной, в ней не осталось ни одного существительного, только глаголы и местоимения. Это что-то двигалось, изменялось и колыхалось, а в ушах у нее звучали сигналы, не похожие на обычные звуки. У нее что-то отбирали... что-то из нее вытягивали... что-то наваливалось на нее, чего не должно было быть... что-то, что нужно прогнать... нечто, не дающее покоя по ночам... стены и окна перемещаются... Нейхем не стал отправлять ее в местную психиатрическую лечебницу и позволял ходить по дому, где ей вздумается, пока она не представляла угрозу для себя и для близких. Даже когда ее поведение переменилось, он не предпринял никаких шагов. Но когда сыновья стали бояться ее, а Тадеуш чуть не потерял сознание при виде тех гримас, которые она ему строила, Нейхем запер ее в мансарде. К июлю она совсем перестала разговаривать и передвигалась на четвереньках, а на исходе месяца муж с ужасом обнаружил, что она слабо светится в темноте, в точности как и вся растительность возле фермы.

Незадолго до того что-то обратило в паническое бегство лошадей. Что-то разбудило их среди ночи, отчего они громко заржали и принялись с ужасающей силой бить копытами в стойло. Не представляя, чем можно их успокоить, Нейхем отпер двери, они умчались прочь, как испуганные лесные олени. Лишь через неделю удалось найти всех четверых, но они оказались совершенно бесполезными и неуправляемыми. Что-то сломалось в их мозгах, и Нейхему

пришлось из милосердия пристрелить их. Он позаимствовал у Эмми лошадь для перевозки сена, однако та не захотела приближаться к амбару. Лошадь упиралась, била копытами и ржала, так что в конце концов Нейхем отвел ее во двор и вместе с сыновьями дотянул тяжелую телегу к сеновалу. А растительность тем временем вся становилась серой и ломкой. Даже цветы, раскраска которых прежде была довольно странной, теперь приобрели сероватый оттенок, а созревающие фрукты сделались серыми, сморщенными и безвкусными. Астры и золотарник стали серыми и искривленными, а розы, циннии и алтеи внушали такой страх, что Зенас, старший сын Нейхема, все их посрезал. Станным образом раздувшиеся насекомые к этому времени почти все сдохли, и даже пчелы покинули ульи и улетели в лес.

К сентябрю вся растительность начала осыпаться, превращаясь в сероватый порошок, и Нейхем стал опасаться, что деревья погибнут раньше, чем почва очистится от отравы. Его жена теперь время от времени заходила в истошном крике, отчего он и сыновья находились в постоянном нервном напряжении. Теперь они сами избегали людей, и когда в школе возобновились занятия, дети остались дома. Но только Эмми в один из своих несчастных визитов заметил, что вода в колодце испортилась. В ней появился очень плохой вкус, хотя она не сделалась ни зловонной, ни соленой, и Эмми посоветовал приятелю выкопать новый колодец на холме и пользоваться им, пока земля не очистится. Однако Нейхем проигнорировал это, поскольку уже стал менее восприимчив ко всякому странному и неприятному. Они продолжали использовать испорченную воду, запивать ею свою скудную и плохо приготовленную пищу и совершать безрадостный, механический труд, заполнявший все их бесцельно проведенные дни. Это было что-то типа бесстрастной покорности судьбе, словно бы они уже прошли половину пути в иной мир по охраняемому невидимыми стражами проходу к неотвратимой и уже хорошо знакомой им участи.

Тадеуш обезумел в сентябре, выйдя из дома к колодцу. Он вышел с ведром, а вернулся без ведра, крича и размахивая руками, принимаясь время от времени дурацки хихикать и бормотать что-то о «движущихся там, внизу, цветных пятнах». Двое сумасшедших в одной семье – тяжкое испытание, но сломить Нейхема было непросто. Неделью он позволял сыну разгуливать, где ему вздумается, пока тот не начал спотыкаться и падать. Тогда отцу пришлось запереть его тоже на мансарде, через коридор от матери. Их перекрикивания за закрытыми дверями были ужасными, особенно для младшего сына, Мервина, которому казалось, что они разговаривают на каком-то жутком, неизвестном на Земле языке. Мервин становился все более впечатлительным, и его непоседливость значительно возросла, когда брат, его главный товарищ по играм, оказался заперт.

Примерно в то же время на ферме начали гибнуть животные. Куры и гуси приобрели серый цвет и быстро поумирали, а мясо их оказалось сухим и дурно пахло. Свиньи невероятно разжирили и претерпели внешние изменения, которые никто объяснить не мог. Их мясо, конечно же, оказалось несъедобным, и Нейхем оказался близок к отчаянию. Сельские ветеринары старались держаться подальше от фермы Гарднеров, а городской ветеринар из Аркхема смог только выразить свое полное недоумение. Свиньи стали серыми, их кости сделались хрупкими и поломались еще до того, как животные умерли, а глаза и мышцы невообразимо изменились. Это было необъяснимо, ибо все, что они ели, выросло за пределами фермы. Затем какая-то напасть поразила коров. Некоторые части тела, а иногда и все тело, выглядели странно ссохшимися или сдавленными, затем части тела ссыхались еще сильнее и иногда просто отваливались. На последней стадии болезни – всегда заканчивающейся смертью – животное становилось серым и хрупким, в точности как это было со свиньями. Отравиться они ничем не могли, поскольку коров держали в отдельном запертом сарае. Их не могли заразить вирусом через укус, ибо никакая из обитающих на земле тварей не проникла бы через надежные стены. Это могла быть только болезнь естественного происхождения, но что за болезнь способна вызвать подобные симптомы – никто не мог даже предположить. Когда пришла пора собирать урожай,

на ферме не осталось ни одного животного, ибо птица и скот пали, а собаки сбежали. Собаки, все три, однажды ночью пропали, и больше о них никто не слышал. Пять кошек исчезли еще раньше, но на это никто не обратил внимания, ибо мыши перевелись уже давно, и только миссис Гарднер присматривала за своими любимцами.

Девятнадцатого октября Нейхем, пошатываясь, вошел в дом Пирсов с ужасающим известием. Несчастный Тадеуш умер в своей комнате в мансарде – при обстоятельствах, не поддающихся описанию. Нейхем вырыл могилу на обнесенном низкой изгородью семейном кладбище за фермой и опустил в нее жалкие останки. Ничто не могло попасть к его сыну снаружи – маленькое оконце и дверь выглядели целыми и невредимыми, – но точно так же было и в сарае со скотом. Эмми и его жена постарались, как могли, утешить его, хотя их самих пробирал страх. Казалось, что смертный ужас окутывает Гарднеров и все, к чему они прикасаются, а самое присутствие одного из них в доме было дуновением нечто неименованного и неименоваемого. Эмми с трудом заставил себя проводить Нейхема и помог ему успокоить истерически рыдавшего Мервина. Зенасу никакое утешение не требовалось. В последнее время он только смотрел в никуда и безропотно делал все, что просил отец, и Эмми подумал тогда, что судьба к нему милосердна. Время от времени плачу Мервина вторил сверху чуть слышный вой, и Нейхем в ответ на вопросительный взгляд Эмми пояснил, что его жена очень ослабела. Эмми смог уйти оттуда только под ночь; но даже многолетняя дружба не могла заставить его остаться там, где растения светились в темноте, а деревья качали или не качали ветвями независимо от наличия ветра. К счастью для Эмми, он был не склонен к фантазиям; будь он сейчас способен сопоставить все факты и поразмыслить над ними, его бы захлестнуло безумие. Тем не менее, пока он спешил домой в сумерках, в его ушах все еще звучали вой сошедшей с ума женщины и плач разнервничавшегося мальчика.

Через три дня рано утром Нейхем вбежал на кухню Эмми и, не застав его, сбивчиво изложил еще одну страшную историю его жене, цепенеющей от ужаса. На сей раз про маленького Мервина. Он пропал. Вышел поздно вечером с фонарем и ведром за водой и не вернулся. До этого он целые дни плакал, не сознавая, что его окружает. Кричал от малейшего беспокойства. Со двора донесся отчаянный вопль, но когда отец вышел из дома, мальчик как сквозь землю провалился. Нейхем тогда решил, что фонарь и ведро он забрал с собой, но наутро, после бесплодных поисков в окрестных лесах и полях, заметил какие-то странные вещи возле колодца. Сплюснутый и оплавленный кусок железа, несомненно, был остатками фонаря, а выгнутая ручка рядом с перекрученными железными обручами, похоже, было всем, что осталось от ведра. И больше ничего. Нейхем был на грани помешательства, миссис Пирс обомлела от ужаса, а Эмми, когда вернулся домой и выслушал этот рассказ, не знал, чего и думать. Мервин пропал, и бесполезно было звать на помощь соседей, которые давно уже сторонились Гарднеров. Пытаться найти помощь в Аркхеме тоже не имело смысла, там его только высмеяли бы. Теда не стало, и вот теперь пропал Мервин. Что-то подкрадывалось все ближе, ожидая, когда его увидят и услышат. Наверное, скоро та же участь постигнет и Нейхема. Он попросил Эмми позаботиться о его жене и Зенасе, если те его переживут. Должно быть, это некое наказание; хотя он не представлял, за что, поскольку всегда жил в страхе пред Господом и следовал всем Его установлениям.

Более двух недель Эмми не виделся с Нейхемом, а потом, обеспокоенный возможным дальнейшим развитием событий, преодолел свой страх и навестил Гарднеров. Из высокой трубы не вился дымок, и в какой-то момент гость предположил самое худшее. От самого вида фермы пробирала дрожь – сероватая увядшая трава и на ней такие же серые листья, ставшая хрупкой виноградная лоза осыпалась со старых стен и фронтонов, а огромные деревья, ставшие голыми, упрямо тянули к тусклому ноябрьскому небу ветви с подчеркнутой недоброжелательностью, которую Эмми ощущал, наверное, по какому-то особому наклону ветвей. Но Нейхем, тем не менее, был жив. Он обессилел и лежал на кушетке в низенькой кухне, но при этом был

в полном сознании и способен давать указания Зенасу. На кухне стоял смертельный холод, и поскольку Эмми зябко ежился, хозяин хрипло прокричал Зенасу подбросить побольше дров. Дров и в самом деле следовало подбросить, поскольку в камине были лишь мрак и пустота, и только порывы холодного ветерка вздымали облачка пепла. Спустя некоторое время Нейхем поинтересовался, не согрелся ли его гость, и тогда Эмми все понял. Самый крепкий стержень наконец сломался, и сознание несчастного фермера отгородилось от новых бед.

Несколько тактичных вопросов не помогли Эмми выяснить, куда подевался Зенас. «В колодце... он живет в колодце...» – вот все, что твердил помешанный. Затем гость вдруг вспомнил о сумасшедшей жене и переменял тему. «Небби? Да она же здесь!» – удивленно отреагировал бедный Нейхем, и Эмми понял, что придется разбираться самостоятельно. Покинув друга, продолжавшего нести какую-то бессмыслицу, он снял с гвоздя около двери ключи и по скрипучей лестнице поднялся в мансарду. Там была теснота и мерзкий запах, и никаких звуков, по которым можно было бы сориентироваться. Из четырех дверей только одна оказалась заперта, ее он и стал пытаться открыть ключами из взятой им связки. Третий ключ подошел, и после нескольких секунд колебаний Эмми толкнул низкую, выкрашенную светлой краской дверь.

Внутри оказалось довольно темно, так как маленькое окошко, наполовину закрытое прибитыми деревянными брусками, почти не пропускало свет, и Эмми не смог ничего рассмотреть на полу из широких досок. Зловоние было настолько сильным, что, прежде чем продолжить, он отступил в комнату напротив и наполнил легкие приемлемым воздухом. Войдя наконец, он увидел что-то темное в углу, а присмотревшись внимательнее, в ужасе закричал. И пока он кричал, ему показалось, что какое-то липкое влажное облачко закрыло окно, а потом пронеслось мимо него, обдав его неким подобием бурлящего ненавистью пара. От странного цвета в глазах у него зарябило, и не будь он крайне напуган, то вспомнил бы о глобуле в метеорите, разбитой геологическим молотком, и болезненном окрасе растительности этой весной. Но Эмми не мог думать ни о чем, кроме чудовищного существа в углу, очевидно, разделившего судьбу Тадеуша и погибших животных. Самое ужасное, что оно медленно, но вполне заметно перемещалось, хотя и разваливалось на части.

Эмми не рассказал мне больше никаких подробностей, но то, что шевелилось в углу, в этой истории больше ни разу не упоминалось. Есть вещи, о которых не следует вообще говорить, и некоторые вполне человеческие поступки строго караются законом. Я пришел к заключению, что когда он покинул ту комнату в мансарде, в ней не осталось ничего, способного двигаться, ибо оставить там кого-либо, способного передвигаться, было бы тяжким грехом, обрекавшим того, кто его совершил, на вечные муки. Любой другой на его месте упал бы без чувств или потерял рассудок, но сей твердолобый фермер в полном сознании покинул и запер ту комнату, скрывавшую ужасную тайну. Теперь его внимание было обращено к Нейхему: его нужно было накормить, обогреть, а затем переместить куда-нибудь, где о нем позаботятся.

Начав спускаться по лестнице, Эмми услышал, как внизу что-то с глухим стуком упало. Он тут же вспомнил о своем крике и как его обдало подобием пара. Что пробудилось от его крика и посещения этой комнаты? Пораженный смутным страхом, он замер, прислушиваясь к звукам внизу. Глухой звук, словно что-то тяжелое волочили по полу, и отвратительнейшее чавканье и хлюпанье, будто что-то высасывали. С лихорадочным ужасом Эмми осознал все то, что происходило сейчас в комнате наверху. О Боже, неужели он столкнулся с чем-то из области фантазий? Он застыл посреди узкой лестницы, не осмеливаясь двигаться ни вперед, ни назад. Все мелкие подробности той сцены пронесли в его голове. Звуки, гнетущее предчувствие страха, тьма, крутизна узких ступеней и – милосердный Боже! – слабое, но вполне заметное свечение всех деревянных предметов вокруг: ступеней, перекладин, опорных брусьев крыши и стенных перегородок.

Затем снаружи, во дворе, безумно заржала его лошадь, затем последовал топот копыт и грохот коляски, говорящие о том, что она убегает прочь. Через несколько мгновений топот и

грохот стали почти не слышны – судя по всему, лошадь с коляской скрылись вдаль, оставляя напуганного человека на темной лестнице гадать, что же могло так напугать Геро. Однако это было еще не все. Среди этого переполоха был другой звук. Что-то типа всплеска жидкости... воды... должно быть, в колодце. Он оставил Геро непривязанным возле колодца; покачнувшаяся коляска могла задеть каменную кладку по верху колодца и выбить какой-нибудь камешек. Внимание Эмми вернулось к тому, что деревянная постройка вокруг него неярко светилась. Боже, насколько древний этот дом! Основная его часть построена еще до 1670 года, а двускатная крыша сделана не позднее 1730-го.

Шаркающие звуки внизу стали более отчетливыми, и Эмми сжал в руках деревянную палку, которую для некоторых целей взял в комнате в мансарде. Стараясь держать себя в руках, он завершил спуск по лестнице и решительно направился на кухню. Однако до кухни не дошел, ибо того, за чем он шел, там уже не было. Оно двинулось ему навстречу и было еще в каком-то смысле живо. Само ли оно приползло сюда или было притащено некой внешней силой, Эмми сказать не мог, но смерть уже забирала его. Прошло всего лишь полчаса, но усыхание, обретение серого цвета и хрупкость зашли уже далеко. Хозяин дома уже распадался, окончательно усохшие куски тела отваливались. Эмми не решился прикоснуться к нему, но лишь смотрел с ужасом на искаженную пародию, прежде бывшую человеческим лицом.

– Что сделало это с тобой, Нейхем? – прошептал он. – Что это сделало?

Гарднер прохрипел сквозь распухшие и потрескавшиеся губы:

– Ничто... ничто... это цвет... он сжигает... холодный и влажный, но сжигает... он живет в колодце... Я видел его... Он вроде дыма... оттенка, как цветы этой весной... колодец по ночам светится... Тед и Мервин и Зенас... все живое... из всего живого высасывает жизнь... в том камне... должно быть, оно прибыло в том камне... и расплзлось вокруг... не знаю, чего ему нужно... та круглая штука, которую ученые нашли в камне... они разбили ее... она была такого же цвета... того же самого, как у цветов и деревьев... должно быть, там были еще... семена... семена... они растут... я впервые увидел на этой неделе... должно быть, стало сильным, раз справилось с Зенасом... Он был крепкий парень, полный жизни... оно сначала сводит с ума, а затем подчиняет... сжигает нас... вода в колодце... ты был прав насчет нее... плохая вода... Зенас пошел к колодцу и не вернулся... не смог уйти... засасывает нас... утаскивает... ты знаешь, что будет, но пользы от этого нет... я снова видел его после того, как оно забрало Зенаса... где Небби, Эмми?... у меня голова не соображает... не помню, как давно я кормил ее... оно заберет ее, если мы не помешаем... просто цвет... по вечерам у нее лицо такого же цвета... это сжигает и высасывает... оно прибыло откуда-то, где все совсем не такое, как здесь... мне сказал один из профессоров... он был прав... будь осторожен, Эмми, оно все еще жаждет... высасывает жизнь.

Это были его последние слова. То, что издавало звуки, не могло больше этого делать, потому что полностью распалось. Эмми накрыл останки красной клетчатой скатертью и вышел через черный ход – в поле. Поднялся по склону на десятиакровое пастбище и дорогой, проходящей севернее, двинулся через леса в сторону своего дома. Он не мог заставить себя пройти мимо колодца, от которого сбежала его лошадь. Эмми смотрел на него в окно и видел, что каменная кладка по верху цела и невредима. Значит, накренившаяся коляска ничего не задела и всплеск был вызван чем-то иным – чем-то, что упало в колодец после того, как распалось с несчастным Нейхемом.

Дома Эмми ждали лошадь, коляска и терзаемая тревогой жена. Без объяснений заверив ее, что с ним все в порядке, он тут же отправился в Аркхем уведомить официальных представителей власти, что семья Гарднеров больше не существует. Не вдаваясь в подробности, сообщил о смерти Нейхема и Небби – о судьбе Тадеуша в городе уже знали – и отметил, что хозяева фермы, судя по всему, умерли от странной болезни, ранее изничтожившей скот. Также сообщил, что Мервин и Зенас куда-то исчезли. Затем он долго давал показания в полицейском

участке, и наконец ему пришлось поехать на ферму Гарднеров вместе с тремя полицейскими, судебным следователем, медицинским экспертом и ветеринаром, который должен был осмотреть больных животных. Эмми очень не хотел возвращаться туда, ибо день уже заканчивался, и он боялся оказаться ночью в этом проклятом месте, но успокаивало, что с ним поехало столько народу.

Шесть человек разместились в открытом экипаже и последовали за коляской Эмми; на пострадавшую от сельскохозяйственного бедствия ферму они прибыли около четырех часов дня. Бывалые полицейские, не раз видевшие смерть, долго не могли оправиться от шока, осмотрев комнаты наверху и приподняв красную скатерть. Сама ферма в целом, усыпанная серым пеплом, внушала ужас, но эти два распадающихся тела были из разряда совершенно немыслимого. Смотреть на них долго не мог никто, и даже медицинский эксперт признал, что ему тут мало чего можно исследовать. Конечно, надлежало взять образцы для анализа – и он не поленился это сделать, что стало затем причиной недоумений в университетской лаборатории, куда две колбы были отправлены для тщательных исследований. Спектрография обоих образцов не помогла определить состав, но вызывающие недоумение многие группы не соответствующих никаким веществам полос в точности совпадали с полученными в прошлом году от обломков метеорита. Через месяц эти полосы в собранной пыли исчезли, а сама она состояла в основном из щелочных фосфатов и карбонатов.

Эмми ни слова не рассказал бы про колодец, если бы знал, что они займутся им прямо сейчас. Дело шло к закату, и он стремился поскорее убраться отсюда, но не мог удержаться от нервных поглядываний на каменное кольцо, и когда следователь поинтересовался причиной такого поведения, признался, что Нейхем ужасно боялся чего-то на дне колодца, причем настолько, что ему даже в голову не пришло заглянуть в него, когда он искал пропавших Мервина и Зенаса. После подобного заявления полицейские не могли поступить иначе, как вычерпать досуха колодец и обследовать его дно; так что Эмми с дрожью стоял в стороне, пока полицейские поднимали и выплескивали на сухую землю одно ведро зловонной жидкости за другим. Осушающие колодец морщились и зажимали носы, но работа оказалась не такой долгой, как они опасались, поскольку глубина воды оказалась на удивление низкой. Нет нужды подробно описывать, что они там нашли. Мервин и Зенас оба были найдены там в виде почти что голых скелетов. Кроме того, там нашли останки небольшого оленя, дворового пса и целую россыпь костей более мелких животных. Ил и грязь на самом дне колодца оказались довольно рыхлыми, и полицейский с багром, которого опускали на веревках, обнаружил, что его орудие, даже полностью погрузившись в вязкую слизь, не встречает никакого препятствия.

Наступили сумерки, и из дома принесли фонари. Когда поняли, что больше из колодца ничего выудить не удастся, все пошли в дом, и в древней гостиной началось совещание, тогда как снаружи на серое запустение вокруг проливала свой слабый свет похожая на привидение половинка луны. Никто не скрывал своего замешательства, и не удавалось найти убедительной связи между мутацией растений, неизвестной болезнью, поразившей людей и домашний скот, и гибелью Мервина и Зенаса в отравленном колодце. Конечно, всякие слухи до них тоже доходили; но невозможно же представить, что чего-либо происходило вопреки законам природы. Нет сомнений, что метеорит отравил почву, но болезнь, поразившая людей и скот, не евших ничего, выросшего на этой почве, вызвана чем-то другим. Могла ли быть в этом виновата вода из колодца? Вполне возможно. Было бы неплохо проанализировать ее. Но какое необычное безумие могло заставить обоих мальчиков прыгнуть в колодец? Они поступили совершенно одинаково – но по скелетам видно, что к ним тоже подкралась серая смерть. И вообще, почему все на ферме стало серым и ломким?

Первым свечение возле колодца заметил коронер, сидевший у окна, выходящего во двор. Ночь уже полностью вступила в свои права, и все омерзительное окружение дома светилось чуть заметно, однако ярче тусклого полумесяца; но это новое свечение было другим и

имело четко выраженный источник – казалось, оно поднималось из черных недр колодца, как ослабленный луч фонаря, тускло бликуя в оставшихся на земле зловонных лужицах. У него был очень странный цвет, и пока все остальные глазели на это в окно, Эмми вдруг осенило. Ибо этот странный луч омерзительных миазмов был хорошо знакомого ему оттенка. Он видел не раз этот цвет прежде, но страх мешал ему задуматься над тем, что сие означает. Он видел его в омерзительной хрупкой глобуле метеорита прошлым летом, видел в ненормальных растениях весной и, как ему показалось, видел сегодня утром возле окна в той ужасной комнате мансарды, где случилось то, о чем не следует говорить. Оно вспыхнуло там на секунду, а затем его обдало подобием бурлящего пара... и сразу после этого несчастного Нейхема прикончило что-то этого же цвета. Он сам сказал это напоследок – сказал, что это напоминало цветом глобулу и растения. И тут же со двора убежала лошадь, а из колодца послышался плеск... а теперь из этого же колодца вырывается в ночь бледный коварный луч этого же дьявольского цвета.

Следует воздать должное живости ума Эмми, который даже в такой напряженный момент занимался разгадкой парадокса практически с чисто научным подходом. Его изумило, что светящееся разреженное облако производило совершенно одинаковое впечатление как в светлое время суток на фоне окна, за которым светилося утреннее небо, так и глубокой ночью на фоне черного, опаленного ландшафта. Что-то в этом было неправильно, не соответствовало законам природы... и он подумал о страшных последних словах своего умирающего друга: «Оно было откуда-то, где все совсем не такое, как здесь... мне сказал один из профессоров...»

Все три лошади, привязанные к высохшим деревьям возле дороги, громко заржали и отчаянно били копытами. Возница открытого экипажа направился было к двери, но Эмми положил трясущуюся руку ему на плечо.

– Не выходите туда, – прошептал он. – Там нечто, не поддающееся разумению. Нейхем сказал, что нечто, живущее в колодце, способно высасывать жизнь. Он сказал, что, должно быть, оно выросло из круглой штуки, такой, какую мы видели в метеорите, упавшем в прошлом июне. Высасывает и сжигает, сказал он, а выглядит как облачко вот этого цвета, который вы сейчас видите, эту штуку нелегко заметить, и не могу сказать, что она собой представляет. Нейхем думал, что оно питается всем живым и набирает при этом силу. Это нечто, обитающее по ту сторону неба, как сказал один из университетских ученых в прошлом году, когда упал тот метеорит. Его существование основано не на тех законах, по которым существует весь Божий мир. Оно откуда-то из-за его пределов.

И пока собравшиеся в доме не знали, на что решиться, свет из колодца становился все ярче, а лошади ржали и метались все более неистово. Это был поистине кошмарный момент: ужас таился в самом древнем и проклятом доме, четыре чудовищных свертка с останками – двоих из дома и двоих из колодца – в закутке для хранения дров за их спинами и столб непонятного демонического света, вздымающийся из осклизлой глубокой ямы во дворе. Эмми рефлексивно удержал возницу, забыв, что сам-то он остался жив после того, как в комнате наверху его обдало тем цветным паром, но, возможно, он поступил правильно. Никто уже не узнает, что могло бы случиться той ночью во дворе, и хотя до сих пор проклятая тварь из иного мира не причинила вреда ни одному человеку твердого рассудка, невозможно сказать, на что она была способна, когда стала сильнее и подавала знаки, что скоро проявит свою конечную цель под этим частично закрытым облаками небе, с которого светила луна.

Вдруг один из полицейских возле окна сдавленно вскрикнул. Все остальные глянули на него, а затем проследили за его взглядом до того места, к которому тот оказался прикован. Слов не требовалось. То, о чем прежде высказывали догадки лишь сельские сплетники, стало не подлежащим сомнению, и именно поэтому все, стоявшие тогда в той комнате, позже согласились шепотом, что будет лучше, если все в Археме позабудут об этих странных днях. Надо также заметить, что в тот вечер стояло полнейшее безветрие. Ветер поднялся позже, но в тот момент воздух был абсолютно недвижим. Даже кончики засохших листьев полевой горчицы, ставших

серыми и наполовину осыпавшихся, и бахрома по краям навесной крыши открытого экипажа застыли без движения. Но посреди этого всеобщего спокойствия голые ветви всех росших во дворе деревьев покачивались. Они дергались болезненно и конвульсивно, словно пытались в эпилептическом припадке вцепиться в подсвеченные луною облака; бессильно царапали зловонный воздух, будто управлялись посредством невидимых нитей затаившимся под землей ужасом, корчащимся и борющимся непонятно с чем где-то под черными корнями.

На несколько секунд все затаили дыхание. Затем плотное облако полностью закрыло луну, и силуэты ветвей на какое-то время стали не видны в опустившейся тьме. А затем у всех одновременно вырвался крик; приглушенный страхом, хриплый и почти в точности одинаковый изо всех глоток. Ибо ужасное зрелище не исчезло от того, что силуэты перестали быть различимыми; во внушающей страх глубокой тьме наблюдавшие узрели, как на высоте верхушек деревьев корчатся цепочки тысяч светящихся неярко точек, облепивших каждую ветку наподобие огней святого Эльма или сияния, сошедшего на головы апостолов в день Пятидесятницы. Чудовищное созвездие, похожее на кишачий рой питающихся падалью светлячков, танцующих адскую сарабанду над проклятым болотом, было того самого дьявольского цвета, который Эмми уже хорошо узнавал и боялся. При этом сияние из колодца становилось все ярче и ярче, все сильнее убеждая сбившихся в тесную кучу семерых мужчин в роковом значении происходящего и его ненормальности, превосходящей все, что мог вообразить их рас-судок. Теперь это было уже не сияние, а излияние: бесформенный поток невыразимого цвета вырвался из колодца и вытекал в небо.

Ветеринара била дрожь; он двинулся к входной двери и укрепил ее поперечным брусом. Эмми дрожал не меньше, и ему пришлось из-за отсутствия голоса одергивать людей и указывать рукой, чтобы привлечь их внимание к тому, что деревья стали светить ярче. Ржание лошадей и беспокойные удары копытами стали уже совершенно ужасными, но сейчас никто не посмел бы выйти из дома ни за какую награду. За несколько мгновений яркость свечения на деревьях возросла многократно, а беспокойные ветви приняли почти вертикальное положение. Дерево колодезного журавля тоже засветилось, и один из полицейских кивком указал на деревянные сарайчики и ульи рядом с каменной стеной на западной стороне – они тоже уже начали светиться, тогда как дерево транспортных средств, на которых приехали посетители, оставалось темным. Затем по дороге пронесся отчаянный грохот, и когда Эмми пригасил лампу, чтобы удобнее было наблюдать, все увидели, что обезумевшие лошади сломали чахлае деревце и умчались прочь вместе с открытым экипажем.

Внезапное происшествие ослабило напряжение среди находящихся в доме, и они стали переговариваться шепотом.

– Это распространяется на все природного происхождения, что пробывало здесь заметное время, – пробормотал медицинский эксперт.

Ему никто не ответил, но полицейский, спускавшийся в колодец, высказал предположение, что его багор, очевидно, потревожил чего-то, что вовсе не надо было трогать.

– Там было ужасно, – признался он. – Никакого дна. Только ил и пузыри – и чувство, будто внизу кто-то прячется.

Лошадь Эмми, все еще издающая отчаянное ржание и бьющая копытами возле дороги, почти заглушала голос своего владельца, бормочущего почти бессвязные рассуждения:

– Оно появилось из того камня... выросло там, внизу... оно поглощает все живое... оно питалось ими, и их телом, и их разумом... Мервин, Тед, Зенас и Небби... Нейхем был последним... они все пили эту воду... оно стало сильным за счет них... это прибыло из иного мира, где все совсем не так, как здесь... и сейчас оно собирается отправиться домой...

В этот момент колонна удивительного цвета ярко запыхала и стала принимать фантастические очертания, которые впоследствии каждый из наблюдавших описывал по-разному, и тут же привязанная Геро издала такой дикий крик, какого никогда еще не доводилось слышать от

лошади. Все в гостиной зажали уши, а Эмми в страхе и ужасе отпрянул от окна. Словами не передать его горя, когда он, посмотрев снова в окно, увидел, что несчастное животное лежит бесформенной грудой на залитой лунным светом земле между оглоблями коляски. На следующий день они похоронили Геро, но прямо сейчас у ее хозяина не было времени горевать – один из полицейских жестом привлек их внимание к чему-то ужасному, происходившему в самой их комнате. При отсутствии света лампы стало заметно, что слабое свечение проникает в их помещение. Оно разливалось по широким доскам пола и местами проступало на лоскутном ковре, мерцало на перекладинах окон из множества мелких застекленных секций. Оно бежало по выступающим угловым опорным брускам, вспыхивало на буфетных полках и над камином и уже затронуло двери и мебель. С каждой минутой это усиливалось, и вскоре каждому из них стало очевидно, что если они хотят жить, то нужно немедленно убираться отсюда.

Эмми вывел всех через черный ход и провел через поля к десятиакровому пастбищу. Все брели словно во сне, то и дело спотыкаясь и не решаясь оглядываться, пока не поднялись по склону. Но они были рады, что есть хотя бы такой путь, ибо не решились бы воспользоваться главным выходом, ведущим в сторону колодца. Им и без того довелось натерпеться страху, когда они проходили мимо ярко светящихся сараев и почти пылающих деревьев с искаженными очертаниями; но, слава Богу, самое ужасное, что в них было, – это задранные вверх ветви. Когда они пересекали по примитивному мостику Коробейниковский ручей, луну закрыло густое облако, и далее до открытого места им пришлось добираться почти на ощупь.

Когда они решились оглянуться и посмотреть на долину и далекую уже ферму Гарднера, их взору предстала ужасающая картина. Вся ферма сияла мерзким невыразимым цветом – деревья, постройки и островки еще не посеревшей травы. Ветви деревьев по-прежнему были задраны вверх, от них поднимались языки пламени того же невыразимого цвета; и такое же пламя лизало крыши дома, сарая и мелких сарайчиков. Это была сцена, похожая на видения Фюссли: возле фермы все находилось во власти аморфного свечения, посреди которого из колодца исходила чуждая и безмерная радуга загадочного и ядовитого свечения – неторопливо бурлящая, расширяющаяся, вытягивающаяся в длину, уплотняющаяся, набухающая, разбрасывающаяся во тьму блики всех оттенков своей космической невообразимой цветовой гаммы.

Затем внезапно эта отвратительная штука метнулась вертикально в небо, как ракета или метеор, и скрылась, не оставив и следа, помимо круглой дыры в облаках, прежде, чем кто-либо из наблюдавших людей успел задержать дыхание или вскрикнуть. Никто из тех, кто это видел, никогда не сможет забыть такое зрелище, и Эмми продолжал тупо пялиться на созвездие Лебедя, на Денеб, светящий ярче других звезд, в районе которого неведомый на Земле цвет растворился в свечении Млечного Пути. Донесшийся из долины оглушительный треск заставил его опустить взгляд. Именно что треск. Это был хруст и треск раскалывающейся древесины, а вовсе не взрыв, как потом клялись другие участники их группы. Но последствия от него были такие же, ибо проклятую и обреченную ферму разметало лихорадочным калейдоскопом, над ней забурился искрящийся дымовой гейзер, из сердца которого вырвался и ударил в зенит ливень обломков таких фантастических цветов и удивительных форм, каких не признаёт наша вселенная. Сквозь быстро затягивавшуюся дыру в облаках они устремились вслед за тем, что уже скрылось из виду, и через мгновение тоже исчезли.

Теперь в покинутой ими низине осталась лишь тьма, в которую они не осмеливались возвращаться, а сверху уже налетал ураган резкими ледяными порывами из межзвездного пространства. Он завывал и свистел, хлестал по полям, перекашивал деревья в лесах, и довольно скоро перепуганные, дрожащие люди на склоне холма решили, что, пожалуй, не стоит дожидаться, пока появится луна и высветит, что же осталось от фермы Гарднеров.

Слишком напуганные, чтобы обсуждать свои догадки, семеро дрожащих мужчин поплелись в Аркхем по северной дороге. Эмми, чувствовавший себя хуже всех, попросил своих спутников сначала довести до дома его, а уж потом идти дальше в город. Он боялся в одиночку

пробирается через потрепанный ураганом лес к своему дому, расположенному возле главной дороги. Ему в этот день выпало больше испытаний, чем всем прочим, и к тому же он был подавлен нависшим над ним навсегда страхом, о котором затем долгие годы не осмеливался даже упоминать. Дело в том, что, пока остальные смотрели вперед на дорогу, Эмми обернулся и окинул взглядом опаленную пустошь и ставшую темной долину, где обитал до недавнего времени его невезучий друг. И в этот момент что-то взлетело вверх от выжженного пятна, поднялось невысоко, а затем снова упало – в точности на то место, откуда взлетал на небо бесформенный ужас. Это было просто пятно цвета – но цвета, какого не бывает ни на Земле, ни на небесах. Эмми узнал этот цвет и понял, что какой-то остаток еще скрывается на дне колодца, а значит, ему теперь никогда не обрести покоя.

Эмми больше ни разу не приблизился к тому месту. Ныне прошло сорок четыре года, об ужасе давно позабыли, но он ни разу не был там и рад, что скоро оно окажется на дне водохранилища. Я тоже рад этому, ибо мне не понравилось, как причудливо искажались блики солнечного света над заброшенным колодцем, когда я проходил мимо. Надеюсь, что вода в этом месте всегда будет глубокая, но даже если будет так, я не стану ее пить. Впрочем, вряд ли мне когда-нибудь доведется побывать в Аркхеме снова.

Трое из тех, кто был с Эмми, утром вновь приехали на ферму, чтобы осмотреть руины при дневном свете, но никаких руин не оказалось. Только остатки кирпичной кладки от печной трубы и входа в погреб, каменные и металлические обломки да бордюр устрашающего колодца. Все живое или бывшее когда-то живым – за исключением мертвой лошади Эмми, которую они оттащили в ближайший овраг и там закопали, да его же коляски, доставленной в тот же день владельцу, – бесследно исчезло. Жизнь навсегда покинула эти пять акров земли, там по-прежнему ничего не растет. По сей день сохраняется это словно бы проеденное кислотой пятно, а те немногие, кто отваживаются добраться до него, чтобы поглазеть, прозвали его «опаленной пустошью».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.